

10.335  
1957

საქართველოს  
ბიბლიოთეკები

3

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

1957



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Литературно-художественный  
и общественно-политический  
журнал

ОРГАН  
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  
ГРУЗИИ



## СОДЕРЖАНИЕ

### 1917 — ЛЮДИ И СОБЫТИЯ — 1957

ВЛАДИМИР ШАУТИДЗЕ. Вместе с родным заводом . . . . .	3
ФЕДОР ШАВИШВИЛИ. Последний день Шлиссельбургской крепости . . . . .	9

### 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ

МАРК МАКСИМОВ. Орлы. Стихи. . . . .	14
ПРОКОФИЙ РАТИАНИ. Великий писатель-гражданин . . . . .	16

### Из литературного наследия Ильи Чавчавадзе

Поэт. Стихи . . . . .	26
У виселицы. Рассказ . . . . .	27
Девятнадцатый век. По поводу «Сакартвелос Моамбе». Сто лет назад. Статьи . . . . .	37

ЛЕВАН АСАТИАНИ. Илья Чавчавадзе и русская литература. . . . .	47
---	----

(См. на обороте)

57.218

3

СЕНТЯБРЬ  
1957







<b>ВАЛЕРЬЯН ИМЕДАДЗЕ. Слово о нерушимом братстве . . . . .</b>	<b>58</b>
<b>АЛИО МИРЦХУЛАВА. Нет, друзья... Стихи . . .</b>	<b>56</b>
<b>ЭММАНУИЛ ФЕЙГИН. Земляки. Из походной тетради . . . . .</b>	<b>57</b>
<b>ПАОЛО ЯШВИЛИ. Самому себе. Стихи . . . . .</b>	<b>88</b>
<b>ШАЛВА ДАДИАНИ. Семья Гвиргвилиани. Роман. (Продолжение) . . . . .</b>	<b>90</b>
<b>КАРЛО КАЛАДЗЕ. Мечта. Стихи . . . . .</b>	<b>111</b>
<b>МУШНИ ПАПАСКИРИ. Старый Гедлач. Рассказ .</b>	<b>114</b>
<b>АЛЕКСАНДР ГОМИАШВИЛИ. Мать моей обители. Стихи . . . . .</b>	<b>119</b>
<b>МКРТЫЧ АСЛАНЯН. Подрубленный столб. Рассказ . . . . .</b>	<b>121</b>
<b>Коротко об авторах . . . . .</b>	<b>127</b>

**Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ**

**Редакционная коллегия:**

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ (заместитель редактора),  
А. КУТЕЛИЯ, В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ**

---

**Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-87-88.**





*Владимир Шаутидзе,*

заместитель начальника сборочного цеха Тбилисского  
станкостроительного завода имени Кирова

## ВМЕСТЕ С РОДНЫМ ЗАВОДОМ

Как-то меня попросили встретиться и побеседовать с учащимися ремесленного училища при нашем заводе. Мне сказали:

— Ты здесь чуть ли не самый старый станкостроитель (это по стажу работы), и кому, как не тебе, рассказать молодежи о пути, пройденном коллективом завода.

Встреча, так встреча. Порылся я в своей памяти и почувствовал, как много прожито, сколько лет труда, житейской практики и опыта отделяет меня от шестнадцати- семнадцатилетних ремесленников.

Говорят, что когда проходит молодость, человек начинает чаще оглядываться назад. Я тоже временами оглядываюсь, но не возраст тому причина, хотя и пошел мне уже пятый десяток. На моих глазах неузнаваемо изменилась Грузия — родной край — и понять это по-настоящему можно только в сравнении с прошлым. К новому быстро привыкают.

Когда молодой рабочий нашего завода или паренек из ремесленного училища разворачивает газету и видит крупными буквами напечатанные слова «К 40-летию Великого Октября», — ему трудно представить себе эти сорок лет. А для меня эти газетные строки полны особого смысла. Ведь металлургический и автомобильный заводы, угольные шахты Ткварчели и Ахалцихе моложе нашей страны. Сорок лет тому назад в Рустави еще ветер гулял по степному простору, а жители Кутаиси самосвала и не видели.

Более 1.500 крупных промышленных предприятий родилось в Грузии с тех пор, как в 1921 г. в республике была установлена Советская власть. А разве не та же земля была раньше, разве меньше были ее богатства? Земля наша всегда щедра, да только попадали ее дары в чужие руки, а большей частью лежали в ее недрах мертвым кладом. На чиатурских рудниках, где добывается ценнейшее промышленное сырье — марганец, хозяином был американский капиталист Гарриман.

Самым крупным предприятием в Грузии до революции считались железнодорожные мастерские в Тифлисе. Не завод, а именно мастерские — кустарные, примитивные, где все было основано на тяжелом ручном труде. Нынешнего большого промышленного района, каким стал Ленинский, не было и в помине.



С удивлением, как на необыкновенного человека, смотрели на меня ребята из ремесленного, слушая мой рассказ. Видно, не верилось им, что ни улиц, ни домов, ни заводских труб, — ничего этого я не увидел двадцать восемь лет тому назад, когда пришел сюда, на строительство завода. Идешь по полю — тихо, в ушах еще стоит звяканье трамвайного звоночка. Этим трамваем, ходившим в Дидубе, я и мои товарищи-строители ездили на работу. Ждешь, бывало, трамвая, не дождешься. А доедешь до конечной остановки, еще пешком шагай минут тридцать-сорок. Город кончался далеко от нашей стройки, и трамвайная линия сюда не доходила.

Около трех десятков лет моей жизни связаны с родным заводом. Для человека это срок немалый, а для промышленного предприятия — не такой уж значительный. Но именно за эти годы развилось советское станкостроение, появились современные сложнейшие машины и механизмы. Как в капле воды отражается богатство красок окружающей природы, так в «биографии» завода имени Кирова отразилась биография нашей страны.

Кто бывал в механическом цехе № 9, мог обратить внимание на то, что помещение его очень низкое. Это не случайно — цех строился с расчетом на то, что здесь будут изготавливать кровати. А помещение нынешнего механического цеха № 2, наоборот, выше других, потому что в нем должны были делать металлические конструкции для сборки и сварки мачт линий электропередачи. Весь завод в целом первоначально именовался «новый механический» и должен был объединить мелкие предприятия местной промышленности. Но не пришлось здесь делать ни кровати, ни металлоконструкции. Нефтяникам Баку, Грозного и других районов было очень нужно оборудование, чтобы добывать нефть. Нам даже не дали полностью достроить завод: уже в 1933 году он начал выпускать свою первую продукцию — ключи для свинчивания буровых и обсадных труб, долотья для бурения и другое. Я в то время уже перешел в цех, чтобы выучиться на слесаря-сборщика.

Оборудование для нефтяных промыслов было простое, большого мастерства не требовало. Но недолго мы его выпускали. По решению XIV съезда партии в стране проводилась индустриализация. Мы, рабочие-кировцы, хорошо понимали, как нужны стране станки. На наш завод поступало заграничное оборудование со звучными красивыми названиями: карусельные станки из Франции — фирмы «Шарль Бертье», продольно-строгальные английские «Батлер», продольно-шлифовальные немецкие «Биллетер». Для нас, заводских комсомольцев-агитаторов, не надо было лучшего примера, чтобы объяснять товарищам, чего от нас ждут партия и народ. Не из добрых побуждений все эти батлеры и бертье присылали свою продукцию. Чистым золотом платила за них иностранным государствам молодая Советская республика. Конкуренции они не опасались. Не верили, что в такой отсталой стране за короткий срок можно создать первоклассную промышленность. И на самом деле это была невероятно трудная задача.

Мало получить оборудование, пусть даже самое хорошее. Надо иметь людей, квалифицированных рабочих, которые могли бы его использовать. А где было их взять, если наш завод стал первым станкостроительным предприятием в Грузии? Опытные токари, слесари, фрезеровщики среди нас насчитывались единицами. Большинство было таких, как я: выросли в деревне и только-только начали изучать производственные профессии. Заграничные станки плохо слушались нас: то работали, а то упирались — и ни с места.

Задание, правда, поначалу дали заводу не особенно трудное — освоить болторезный станок. Но и с ним пришлось помучиться. Я уже работал тогда самостоятельно — слесарем-сборщиком. Бывало, собираем станок, — все как будто правильно, а начнем испытывать — капризничает. Следуют поиски, догадки, проверки. И все же эти первые трудности были для коллектива хорошей школой. Мы научились добиваться, чтобы дело ладилось как бы ни было тяжело. Одна настойчивость, конечно, не решает дела, и потому, выпуская продукцию, завод одновременно готовил для себя кадры.



Были организованы технические школы, помогавшие осваивать профессии. Я учился в школе, которой руководил молодой инженер Николай Северьянович Кизивадзе — нынешний директор завода. Более опытных моих товарищей послали на специальные курсы.

Через каких-нибудь два-три года мы выпускали уже сотни болторезных станков и начали делать специальные станки для обработки труб в металлургической промышленности. Делаем их и сейчас, но прежде они полностью шли за пределы республики, а в настоящее время часть их посылается в Рустави, где вырос Закавказский металлургический завод.

Главной продукцией Кировского завода с 1944 г. стали токарные станки. Много лет мы выпускали станок «ДИП-300», марка которого означает «Догнать и перегнать» — лозунг, выдвинутый партией в период индустриализации страны. Марка «ДИП» мобилизовывала, подстегивала нас, заставляла набирать темпы, и количество нашей продукции росло из года в год. Заводские конструкторы улучшали, совершенствовали станок несколько раз, и модернизированный «ДИП-300» стал называться «1Д6ЗА».

Помню, в 1953 году, когда отмечалось двадцатилетие нашего завода, в докладе директора на заводском собрании был приведен такой пример: нами выпущено столько станков, что их хватило бы для полного оснащения 25—30 заводов, подобных нашему. Вот какой вклад внесли кировцы в индустриализацию страны! И теперь уже не к нам, а от нас идут станки за границу. Часть нашей продукции уже лет пять отправляется в другие страны мира — Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Китай, Индию, Индонезию, Бирму, Афганистан, Египет, Сирию, Турцию.

Далеко на восток и на запад протянулись от завода нити деловых связей. Наши люди стали часто ездить за границу. В прошлом году, например, бывший слесарь, а теперь заместитель начальника цеха Александр Иосифович Кашиашвили побывал в Австрии, налаживая там сделанные у нас станки. До того он вместе со старшим конструктором Виктором Порфирьевичем Бобро и электриком Борисом Бугдановичем Мирвеловым несколько месяцев пробыл в Китае — они устанавливали и монтировали наши трубообрабатывающие станки на Аньшанском металлургическом комбинате.

С Китаем у нашего завода особенно тесная дружба. Уже два года в Ухани вместе с большой группой советских инженеров находится заместитель главного технолога завода Алексей Ильич Беришвили. Он помогает китайским товарищам налаживать производство станков на строящемся станкостроительном комбинате. А в Тбилиси повышали свою производственную квалификацию молодые рабочие из Ухани. Уехали они совсем недавно, приобрели опыт, научились говорить по-русски и стали нашими друзьями. Не забывают нас — присылают письма.

Начальник ремонтно-механического цеха Сократ Минаевич Томарадзе весной этого года вернулся из дальней командировки в Бирму. Там, в Рангуне он принимал участие в монтаже оборудования нового станкостроительного завода.

Некоторые наши модели стали выгодно отличаться от зарубежных. Новый трубопроточный станок, созданный на Кировском заводе, более скоростной, чем однотипный — американской фирмы «Гишольт», гидрофицированный токарно-давилый станок для выдавливания из плоских заготовок объемных сферических деталей превзошел немецкий — фирмы «Пайфель». Гидрофицированный станок — последнее слово техники, он удобен, легок в обслуживании, экономит металл, отвечает тем требованиям, которые предъявил советскому станкостроению XX съезд партии. Я бы сказал, что станок этот представляет собой воплощенную в металл идею партии о необходимости производить больше мощных совершенных прессов, которые уменьшат затраты труда, примут на свои могучие плечи всю его тяжесть. И это в самом деле так. Станок снабжен гидрокопировальной следящей системой и работает при помощи гидропривода. Рабочему остается только умело управлять им, тогда как на существовавшем до сих пор давилый станке передвижение и нажатие давилый инструмента на изде-



лие производилось вручную, требовало большой затраты физических сил человека.

Но новшества появляются не только у нас. Техника развивается и за рубежом. Наши инженеры, конструкторы побывали на промышленных выставках в Лионе, Познани и других городах мира, чтобы познакомиться с новой техникой. И как только мы начинаем отставать от современного уровня промышленного развития — на заводе проводится полная реконструкция: заменяется оборудование, улучшается технологический процесс, перестраивается организация труда. Каждый раз это поднимает завод на новую ступень технического прогресса.

Проведенная в 1949 — 50 годах реконструкция сразу в пять-шесть раз повысила производство станков. Сейчас тоже проводится реконструкция. Свыше 20 миллионов рублей затрачивает государство на новое оборудование, которым оснащаются наши цехи. Это мощные специализированные станки-автоматы и полуавтоматы, одновременно выполняющие несколько операций.

Когда экскурсанты впервые попадают к нам в цех, они с опаской поглядывают на металлические громады, не знают, как к ним подойти. А в руках опытного рабочего эти машины послушны и безотказны.

Станки высокого класса, мощные многотонные прессы, рольганги и электрические подъемные краны для перемещения грузов, которыми сейчас оснащается завод, значительно облегчают труд рабочего, делают его более производительным. В третьем сборочном цехе, где я работаю, устанавливается пульсирующий шагающий конвейер, который легко и ритмично будет передвигать узлы и готовые станки. Это — новинка в технике, о которой еще несколько лет назад сборщики и не мечтали. Тогда цех не имел даже своего помещения, сборка производилась прямо в механическом цехе; шабровку деталей слесари делали вручную, а теперь эту трудоемкую работу выполняют новые шлифовальные станки.

И каждый раз, когда я гляжу на эти умные, облегчающие труд человека машины, думаю о небывалом расцвете техники, о росте технического уровня рабочих кадров в Советской стране, я невольно вспоминаю своего отца. На единственной фотографии отца, которая сохранилась в нашей семье, он изображен вместе с дядей — тоже плотником. Оба стоят ровно, с напряженными лицами, то ли удивленно, то ли испуганно смотрят на «чудо техники» — фотоаппарат. Тяжелые рабочие руки вытянуты по швам. Эти руки особенно запомнились мне. Может быть, потому, что в детстве я часто слышал от соседей: «Золотые руки у Варлама». Когда подрос, понял, что это значит — умелые, трудолюбивые. Отец, и правда, был хороший плотник; уходя в город на заработки, как и многие крестьяне нашего Амбролаурского района, он всегда находил работу. С годами прибавлялись опыт, мастерство, а знания оставались прежними — выучился он с грехом пополам у сельского священника читать, писать — уже считался в селе грамотеем. И тогда действительно основную роль в жизни рабочего человека играли руки — физическая сила и трудовые навыки. А теперь, если хотят сказать доброе о рабочем, все чаще к словам «золотые руки» добавляют слова — новатор, рационализатор, светлая голова. И это очень правильно.

Так, к примеру, называют у нас Аганджанова. Аветис Аганджанов — не инженер, он опытный квалифицированный токарь. Как будто совсем не его обязанность ломать голову над улучшением технологии, совершенствованием конструкции нового токарного станка «163», который завод недавно освоил. Но есть, кроме служебных обязанностей, долг коммуниста, есть чувство ответственности за общее дело. И, наконец, есть технический кругозор, который позволил рабочему-практику Аганджанову создать зажимной самоцентрирующий патрон для токарного станка. Аганджанов получил авторское свидетельство, а патрон его конструкции применяется и на других заводах страны.

Разве могут коммунист Аганджанов, или коммунист Бендианишвили — передовой слесарь завода, или коммунист Шаутидзе, которому



доверено руководство цехом, не понимать, что к ним обращен упрек партии, высказанный на июльском пленуме ЦК КПСС: задерживаете, товарищи станкостроители, внедрение в нашу промышленность прогрессивных гидрокопировальных устройств и универсальных токарных станков. А ведь нельзя дать обогнать себя капиталистическим странам в техническом развитии. Ускорить освоение гидрокопировальных устройств к существующим токарным станкам и создать новый токарный станок «163» — мощный, оставивший позади старый «ДИП» — стало делом нашей чести. Этот станок сокращает не только машинное время обработки деталей, но и вспомогательное: то есть время на ее установку, перемещение, снятие. Для этого на станке «163» имеется автоматическое ускорение перемещения суппорта.

Так наш завод вместе с большой семьей советских станкостроителей осуществляет техническую политику партии. Делают это инженеры, конструкторы, рабочие. И часто рабочий выступает в роли инженера, подсказывает конструкторам, что можно улучшить.

Радость творчества — великая сила, она словно окрыляет человека. Лет двадцать назад я получил первую в жизни премию за рационализаторское предложение. Не велика была она — всего 370 рублей, а сколько радости доставила! Я увидел, что могу и сам сказать свое слово в процессе производства, поверил в себя. Вскоре мне предложили придумать новое приспособление для пригонки шпинделя. И мне удалось сделать его.

Теперь рабочий-рационализатор — явление обычное. Только за семь месяцев нынешнего года на заводе поступило 233 рационализаторских предложения. Более 130 из них были приняты и дадут государству в год свыше 130 тысяч рублей экономии народных средств.

Техника помогает нам в труде, но она предъявляет и свои требования. Когда рассказываешь молодежи о станках-автоматах, кое у кого складывается представление, что на них работать проще простого: стой и нажимай кнопки. И учиться тут нечему. В корне неверное представление. Чем станок совершеннее, сложнее, «умнее», как иногда говорят, тем большей квалификации и больших знаний требует он от рабочего. Для того, чтобы уверенно управлять им, надо понимать устройство станка, разбираться в чертежах. Разве может доверить государство неопытному, невежественному человеку механизм, стоящий сотни тысяч рублей?

Сейчас наладкой станков занимаются специальные люди — наладчики, но недалеко то время, когда каждый токарь, фрезеровщик, строгальщик сам станет наладчиком, то есть фактически превратится в техника, поднимется на ступень, переходную, от рабочего к инженеру, от физического труда — к труду умственному. Уже сейчас есть у нас станочники, конечно, самой высокой квалификации, которые отлично обходятся без наладчиков.

Люди создают технику, а техника толкает вперед людей, заставляет их учиться, овладевать знаниями. Когда я вспоминаю себя в 1929 — 30 гг. — без специальности, без большого образования, то отчетливо вижу, что не только я строил завод, но и завод строил из меня человека. И хотя нет у меня диплома об окончании вуза, я прошел целый технический университет, где теория и практика переплелись самым тесным образом. Технические кружки, курсы, помощь инженеров помогли мне стать квалифицированным слесарем, затем мастером, старшим мастером, а год назад меня выдвинули на должность заместителя начальника цеха. И таких, как я, — много на нашем заводе. Выросли в цеховых руководителях бывшие рабочие Кобзинадзе, Спицин, Аникеев; мастерами и помощниками мастеров работают сейчас тт. Хухия, Долидзе и многие другие.

Уровень знаний молодых рабочих сегодня гораздо выше, чем был в начале работы на заводе у меня и моих сверстников. Большинство имеет среднее образование. А те, кто не успел его получить, — занимаются в вечерней школе. Одни, как токарь Куба Вачейшвили или кладовщица Нина Киракосян, учатся в институте, другие — ходят на занятия по техническому минимуму, поступают в техникумы. Завод их поддерживает, идет на-



встречу. Кто сосчитает, скольким молодым людям он помог найти себя, свое призвание в жизни, твердо стать на ноги! Их очень много. Одновременно с обработкой металла в его шумных больших цехах идет обработка такого сложного и дорогого материала, как человеческие души, характеры. Здесь куются настоящие советские рабочие кадры.

И еще в одном судьба моя и моих товарищей не похожа на судьбы наших отцов. Варлама Шаутидзе, как хорошего плотника, знали немногие, тогда как наш труд находит общественное признание. В 1939 году правительство наградило группу станкостроителей. В газетах был напечатан указ о награждении. Меня наградили орденом «Знак Почета». Двух моих товарищей — мастера сборочного цеха Тимофея Спицина, бригадира такелажников Александра Чубинидзе — медалями. Мы были первыми награжденными на заводе. По этому поводу устроили митинг, нас поздравляли. А недели через две вызвали в Москву, в Кремль, где Михаил Иванович Калинин собственноручно вручил нам награды. Потом с нами беседовал нарком тяжелого машиностроения, рассказывал о положении дел на предприятиях, о перспективах на будущее. Весь заводской коллектив на нашем примере увидел, как высоко ценится труд, почитаются люди труда в нашей Советской стране.

Когда стали подрастать мои сыновья — Анзор и Омари, я все больше начал задумываться над тем, какой дорогой пойдут они в жизни. Старался заинтересовать парней заводскими делами, знакомил с моими товарищами. Старшего сына иногда брал с собой в цех, благо мы теперь живем недалеко, в новом заводском доме. Не хотелось навязывать ему свое решение, думал — пусть сам поймет, что чем раньше он начнет работать на производстве, тем лучший инженер получится из него со временем.

Приходят к нам на завод практиканты, поступают молодые инженеры. И, наблюдая за ними, я увидел, что, если приходит специалист, знакомый на практике с производством, он уверенно берется за дело, уверенно входит в коллектив — рабочие его уважают, знают: инженер не только на словах объяснит, но и сам может стать за станок, показать, что и как надо делать. А тот, кто питался одной теорией, как бы хорошо ее ни изучил, чувствует себя неуверенно, тяжело, порой мучительно, преодолевает свои страхи и сомнения, недоверие окружающих. Поэтому я очень доволен, что сейчас, когда мои сыновья становятся взрослыми, пошло такое веяние — по возможности приближать молодежь к труду, к практической жизни.

Старший мой сын Анзор недавно поступил в наш третий цех учеником слесаря. Школу он, правда, окончить не успел. Но не беда, если год походит в вечернюю. Зато здесь, на заводе, в дружном рабочем коллективе он пройдет большую практику, многому научится, и, прежде всего, — научится главному — любить труд, гордиться высоким званием советского станкостроителя.

Рано утром мы вместе выходим из дому. Еще не успели начать свою перекличку заводские гудки. Торопливой походкой шагают по улицам пешеходы — спешат на работу. Вот уже недалеко наш Кировский завод. Невольно бросаешь взгляд вдоль Советской улицы. Все здесь выросло на моих глазах, создано трудовыми руками советских людей и все это — живое свидетельство возрождения и расцвета родной Грузии за минувшее столетие.

Нынешней молодежи куда легче вступать в жизнь, чем моему поколению. То, что создавали отцы, она приняла готовым. Но чтобы она ценила, понимала, как много сделано за сорок лет Советской власти, берегла и множила богатства страны, полезно сейчас оглянуться назад, вспомнить, с чего мы начинали.

Вот это-то я считал главным в беседе с воспитанниками ремесленного училища № 6 — новой сменой выросшего за годы Советской власти рабочего класса республики.



## Последний день Шлиссельбургской крепости

Во всей карательной системе царизма Шлиссельбургская крепость с давних времен занимала особое место. В этом «каменном мешке» долгие годы томились писатели-просветители Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, декабристы братья Николай и Александр Бестужевы, В. Кюхельбекер, народовольцы Н. Морозов, В. Фигнер, Г. Лопатин — переводчик ряда философских трудов Спенсера и I тома «Капитала» К. Маркса — и другие передовые люди тогдашней России. В мае 1887 года в Шлиссельбургской крепости взошли на эшафот старший брат В. И. Ленина — Александр Ильич Ульянов и его товарищи — Андреюшкин, Генералов, Осипанов, Шевырев. Там же, зажатый в тесную одиночную камеру, писал свою «Исповедь» М. Бакунин.

После поражения революции 1905 — 1907 гг. Шлиссельбургская крепость была переполнена арестованными революционными рабочими и интеллигентами, крестьянами, матросами и солдатами, восставшими против самодержавного строя. Много, очень много страшных событий помнят ее толстые каменные стены. Здесь заключенные обливались керосином и сжигали себя; здесь их били, истязали, расстреливали, вешали и тут же зарывали в землю.

Весной 1915 года меня из харьковской каторжной тюрьмы пре-

проводили в Шлиссельбургскую крепость. Шла первая мировая война, железные дороги были перегружены, и в связи с этим нашей группе долго пришлось дожидаться в Москве очередного этапа на Петроград. В камерах московской «Бутырки» теснота, но, вспоминая, они еще больше были набиты в начале 1911 года участниками шумных уличных демонстраций, устроенных по случаю похорон Льва Николаевича Толстого.

После «Бутырки» — петроградские «Кресты». Лет восемнадцать тому назад в «Крестах» содержался Ленин. Пытаюсь узнать, в какой именно камере он сидел. Где он теперь? Как хочется лично видеть этого человека!

И в «Крестах» — большая теснота. Но там мне пришлось задержаться недолго. Через пять — шесть дней нас повели на пристань. Сопровождавшие меня конвойные зорко следят за каждым моим движением. Я жадно гляжу на людей — мужчин, женщин, детей, — на деревья, дома, экипажи, магазины, на все! Лязг кандалов привлекает внимание прохожих.

Нева. Пристань. Спускаюсь в трюм парохода. Кругом ничего и никого не видно. А так хочется глядеть и глядеть на все — быть может, в последний раз!

Часа через четыре пароход при-



стал к маленькому островку на Шлиссельбургской губе Ладожского озера. Бросаются в глаза высокие серые стены крепости. Вот она какова, «Русская бастилия»!

Над входными воротами крепости — большой двуглавый орел, герб российской монархии. Под ним надпись крупными буквами: «Государева». В России, кроме Шлиссельбургской крепости, ни одна тюрьма не имела вывески.

Принимает нас помощник начальника крепости по фамилии Гудима. Он бегло просматривает переданное ему начальником конвоя мое «арестантское дело».

— Политик! — цедит сквозь зубы тюремщик, выражая этим свою ненависть к политическим заключенным. — Ишь ты, царя не хочет! Фамилия?

— Шавишвили, Федор Амбакович. — Заранее зная, какие вопросы последуют дальше, продолжаю: — Рождения 1890 года, село Лихаури Озургетского уезда, Кутаисской губернии...

Вопросы анкетного порядка закончились. Приступили к обыску. Возились долго. Поменяли одежду, обувь, полезли в нос, в рот, в уши, прощупали чайник — нет ли второго дна, прокололи шилом переплет учебника арифметики М. Б. Кюрзена, который сохранился у меня и поныне, как память о Шлиссельбурге. Затем меня провели в одну из камер нижнего этажа первого корпуса. Камеры — как вольеры для зверей в зоопарках: вместо обычных дверей железные решетки на петлях. У постового надзирателя вся камера, как на ладони. В ней человек двадцать пять — тридцать.

Арестанты, годами изолированные от всего мира, забросали меня вопросами. По многу раз спрашивают об одном и том же.

В крепости более 900 человек. В числе их много большевиков-ленинцев со стажем активной революционной борьбы, будущих героев гражданской войны и социалистического строительства. Где теперь эти прекрасные люди, замечательные товарищи, стойкие борцы за народное дело?

Бывший шлиссельбуржец Иван Сергеевич Мельников в письме от 12 июня 1957 года пишет мне: «В

Москве нас трое: Виктор Викторович Колосовский (бывший наш библиотечник), Муравин и я... Впрочем, упоминают о Петрове, который ушел из Шлиссельбурга до 1917 года». Остальные были или замучены царской охранкой или погибли в боях за Советскую власть.

Для меня приятная новость, что любимец политзаключенных Шлиссельбурга, стойкий революционный боец еще 90-х годов прошлого столетия, активный участник революции 1905 года, близкий товарищ Ф. Э. Дзержинского по подпольной работе в военно-революционных социал-демократических организациях, участник восстания саперов в Киеве в ноябре 1905 года, старый большевик доктор Федор Николаевич Петров живет и здравствует.

В старых моих бумагах шлиссельбургского периода среди личных писем товарищей по заключению в крепости — Михаила Сафонова, Иустина Жука, Михаила Степанова, Вениамина Симоновича, Шарапы, Бузинного и других я обнаружил каторжанский билет Мельникова со следующими анкетными данными:

«Камера № 17

Билет № 148

на каторжника Ивана Сергеевича Мельникова, происходящего из крестьян Тульской губернии и уезда, Мясновской волости, 28 лет, по профессии техник, осужден к каторжным работам на 8 лет по ст. 128, 136 и 127...»

В крепости подследственных заключенных не было. В ней содержались лишь осужденные на каторгу. Им и выдавался такой билет, который они обязаны были иметь при себе во время утренней и вечерней проверки.

У меня уцелела и фотокарточка И. Жука, подаренная мне на память, а также фотографии Лихтенштадта, Шарапы, Прожогина, Штрикунова и других политзаключенных...

В крепости царит тишина. Полное безмолвие кругом, на всем островке. Но обитатели крепости живы — они ходят, дышат, мечтают, ловят в мрачной тюремной тишине случайные звуки. За ними зорко следят, их бдительно стерегут. Притаившиеся в полосатых будках на стенах крепости вооруженные люди только этим и заняты. При малейшем подозритель-



ном шорохе — нажмут кнопку тайной сигнализации, и вся тюремная стража станет на ноги в боевой готовности — против безоружных, но негибавших узников.

Уход кого-либо из крепости — целое событие в жизни заключенных. Ведь редко кто доживает до окончания срока каторги и высылки в Сибирь на поселение. Люди умирают от чахотки, тифа, истощения, но камеры не пустуют — царская охранка загоняет сюда все новых и новых заключенных.

Вот уходит «Кавказский вулкан» — Серго Орджоникидзе. Серго окончил срок каторги, и его под конвоем отправляют на вечное поселение в отдаленные края Сибири. Все свое достояние — небольшой чайник, кружку, мешочек с сахаром — он держит в левой руке. Под мышкой зажаты выцветшее арестантское одеяло из солдатского сукна и завернутая в нем потрепанная подушка. Это казенное добро при выходе он обязан сдать в тюремный цейхгауз. Серго намеревается оставить товарищам чайник и сахар, но те возражают:

— Бери, понадобится, тебе далеко ехать!

Но когда он бросил на стол кусок мыла, никто не возразил — знали, что конвойные в арестантский вагон мыло не пропустят — ведь арестант может намылить пятки, снять кандалы и сбежать.

Обитатели камеры сдержанно волнуются. Наперебой прощаются с уходящим товарищем, обнимают, целуют, завидуют.

— Орджоникидзе! — на всю камеру кричит надзиратель. — Скорей собирайся!

— Прощайте, товарищи! Встретимся при другом строе. — взволнованно говорит Серго.

Он вышел. С шумом захлопнулись железные двери. По камере ходят возбужденные люди. У каждого мелькает в голове: «Осталось еще тринадцать лет...», «Шестнадцать лет...», «Двенадцать лет и семнадцать дней...», «Что там, как там, — далеко, за тюремными стенами?»

Бессрочнику Володе Лихтенштадту<sup>1</sup> незачем заниматься арифметическими вычислениями — бессрочная

<sup>1</sup> Владимир Осипович Лихтенштадт, будучи политкомиссаром 6-й дивизии, погиб в боях с бандами Юденича под Петроградом.

каторга не поддается делению и вычитанию. Но он тоже взволнован и дрожащей рукой записывает в свою тюремную тетрадь:

«Сегодня ушел Орджоникидзе. Что за человек! Какой открытый характер! Сколько энергии, принципиальности, отзывчивости! Какой сильный пропагандист марксизма! Через него же мы узнали в этой могиле подробности о работе Пражской конференции. Как он рисовал Ленина, вселяя в нас любовь и уважение к нему! Добрый путь, дорогой товарищ!»

\* \* \*

В карцере темно и днем и ночью. Перепутал счет дням. Лишь впоследствии выяснил, что на восемнадцатые сутки заболел в этой сплошной темноте. Меня под руку повели в тюремную больницу. В палате на койке лежал арестант в наручных кандалах, что указывало на то, что он «вечник», то есть осужден на бессрочную каторгу. Похож на грузина.

Говорю ему по-грузински:

— Гамарджоба!<sup>1</sup>

Оказался Павлом Иосифовичем Мардалейшвили<sup>2</sup>, прибывшим из кутаисской тюрьмы. Выдержанный, размеренно спокойный, он в первые дни революции показал себя замечательным боевиком в борьбе с обломками царского строя.

...Вторник, 28 февраля 1917 года. Пасмурно. Прогулка. Медленно ходим попарно в небольшом кругу во дворе крепости. Со мною в паре — Иустин Жук<sup>3</sup>.

Мы тихо беседуем. Повышение голоса, замедление шага, отступление в сторону влечет за собой выстрел, смерть и три рубля награды стрелявшему надзирателю. Вон тот старый бородатый тюремщик получил три рубля за убийство политзаключенного И. Краснобратского, вся вина которого состояла в том, что он намеревался насыпать голубям на подоконник крошки хлеба.

<sup>1</sup> Здравствуй!

<sup>2</sup> П. И. Мардалейшвили в марте 1921 г. вместе с Н. Ивановым был расстрелян грузинскими меньшевиками в окрестностях Кутаиси.

<sup>3</sup> И. Жук, впоследствии командир дивизии, пал смертью героя в бою против белофиннов на Карельском фронте в 1919 г.



— Гад! — тихо говорит по адресу убийцы Иустин Жук.

Жук — человек бурного, негибемого характера, недавно вышел из карцера. При посещении крепости петроградским градоначальником князем Оболенским на его вопрос, имеется ли просьба, жалоба, заявление, Жук с серьезным видом ответил:

— В камере нет метлы. Распорядитесь, чтобы выдали.

Петроградский градоначальник никак не ожидал подобной дерзкой насмешки со стороны бесправного шлиссельбургского арестанта. Он счел ниже своего достоинства войти с ним в пререкание, надменно повернулся и вышел из камеры. Угодливые тюремщики без его сиятельства хорошо знали, что за дерзость арестанта Жука следует посадить в карцер. И Жук целый месяц провел в подземелье.

Прогулка подходит к концу. Прибегают старший надзиратель и из наших рядов вызывает в тюремную контору Жука и Малашкина. Они возвращаются оттуда очень скоро. На них лица нет. Великан Жук бледен, дрожит, хочет что-то сказать, но долго не может выговорить ни слова. Наконец, говорит:

— Свобода, товарищи! Революция!

Ряды смешались, все бросились на верхний этаж. Смотрим вниз: море людей окружает крепость. Развеваются красные знамена. Грянула «Марсельеза».

В Шлиссельбургскую крепость ворвалось дыхание революции! Раскрылись массивные железные ворота, веками охранявшие обитателей «Русской бастилии», и так и остались раскрытыми!

Арестантские халаты перемешались с рабочими куртками. Люди целуются, смеются, плачут. Кто-то вскочил на импровизированную трибуну и произносит речь. Второй тоже пытается сказать что-то, но у него ничего не получается, он захлебывается, слова застревают в горле. Впечатление такое, будто все сошли с ума. Один заключенный, кажется, дей-

ствительно тронулся умом. Он естественно хохочет и бежит обратно в тюрьму.

— Не надуешь, не продашь!.. Нет, брат, шалишь! Покажи акт, покажи — тогда поверю. Подпись надо, подпись, без подписи нельзя, — бессвязно бормочет этот человек. Его железная воля выдержала долгие годы сурового режима царского застенка, но его разум не устоял против первых лучей свободы, той свободы, за которую он смело пошел на каторгу.

...Стемнело.

Возбужденное движение. Бегают рабочие, курсистки, студенты, подают к столу хлеб, мясо, картошку, суетятся, просят, приглашают. Никто к столу не подходит, не садится, никто до пищи не дотрагивается. Разве до еды!

Горит голова, горит, как никогда. Как не горела она даже при аресте десять лет тому назад, когда мне еще не было и восемнадцати. Мыслишь отрывками, кусочками, подобно вспышкам разгорающегося костра.

Подходит пожилой рабочий:

— Ко мне, товарищ, пойдём ко мне домой!

Указываю глазами на матроса Ивана Штрикунова и Павла Мардалейшвили.

— Пожалуйста, пожалуйста, идите, все идите!

Входим в квартиру. Вижу то, чего не видел в течение десяти лет: ликующие лица женщин, детей, самовар, гитару, искусственные цветы, занавески, окна без железных решеток...

— Кто? Откуда? Как звать? За что сидел в крепости?

Вопросам и разговорам нет конца.

— Товарищ, жив ли Ленин? Мы давно о нем ничего не знаем, — говорю я хозяину квартиры Алексею Аввакумову, когда волнение немного улеглось.

— Жив Ленин, дорогой товарищ! Жив! Мы тоже о нем долго ничего не знали. А теперь точно скажу: жив! — быстро заговорил рабочий. — А Сталин где-то в Сибири, в ссылке. Но ничего, теперь дело пойдет. Наша возьмет!..





**НЕ** УСТОИТ отживший, старый мир  
Перед могучим вихрем обновленья.  
Не выдержат грабитель и вампир  
За правду справедливого сраженья.

Падут оковы, рушится оплот  
Проклятого насилья мирового,  
И из побегов новых расцветет  
Страна моя, родившаяся снова.

*И. Чавчавадзе*

Из поэмы «Видение», перевод Н. Заболоцкого.



# Орлы

Памяти Ильи Чавчавадзе

Когда курки «лепажей» отгремели,  
и Пушкин,  
пав на русский снег,  
угас, —  
грузинский мальчик закричал в Кварели:  
он родился почти в тот самый час.  
Он рос в краю,  
где каждая долина  
пробита в камне дерзкою рекой,  
где у людей язык почти орлиный,  
а у орлов язык почти людской.  
Орлиную свободу и тревогу  
он песням отдавал из года в год,  
он был поэт,  
он знал, что равен богу,  
когда в дорогу звал родной народ...  
Он был орел.  
И вот, как Пушкин, снова  
он не признал орлом  
того птенца —  
двуглавого, клюющего сердца,  
орла его величества  
ручного.



И снова бросил гром курок взведенный,  
тот, что решил и Пушкина судьбу...  
...Лежит поэт, в Тбилиси погребенный,  
лежит поэт в Михайловском, в гробу...  
Но суд идет, и время смотрит в оба,  
течет вода Арагвы и Невы.  
Лежат на свалке и гниют без гроба  
двуглавого орла две головы.  
А в гордых песнях кровь стучит живая,  
и в строчках, раскаленных добела,  
парят, крылом друг друга прикрывая,  
два побратима, два живых орла.



საქართველოს  
ხალხთა ეროვნული  
ბიბლიოთეკა



**РАЗВЕ** я мог, глупый, знать в ту пору, что любовь между людьми высшего и низшего сословия — несбыточный сон? Разве мог знать, что между помещиком и рабом нельзя перекинуть мост любви?

Исповедь крепостного из «Рассказа нищего»  
И. Чавчавадзе.

*Прокофий Ратиани*

## ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ-ГРАЖДАНИН

О ФОРМИРОВАНИИ И ХАРАКТЕРЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ  
ВОЗЗРЕНИЙ И. ЧАВЧАВАДЗЕ

### I

Выступление Ильи Чавчавадзе и его прогрессивной группы — «Тергдалеулеби»<sup>1</sup> на общественную арену было подготовлено всем ходом исторического развития Грузии.

Известно, что феодальная Грузия, в результате ряда благоприятных исторических условий, рано достигла вершины своего государственного и экономического развития. Уже к XII—XIII вв. Грузия превратилась в богатое и мощное государство с широко развитыми ремесленным производством и торговлей. К этому времени предпосылки для зарождения и развития новых экономических отношений в стране были уже налицо.

Однако дальнейшее экономическое и политическое развитие Грузии было надолго задержано вторжением многочисленных внешних врагов (монголов, турок, персов), вызвавших ослабление страны и дробление ее на отдельные провинции. Начиная с XIII и вплоть до XVIII века грузинский народ почти не знал мирной жизни и не выпускал из своих рук обнаженного меча. Не удивительно, что разоренная, изнуренная непрерывными войнами, длившимися многие века, Грузия не находила в себе достаточных сил для дальнейшего роста и развития.

<sup>1</sup> «Тергдалеулеби» — буквально значит: «испившие воды Терека». Так называли молодых грузин, отправляющихся за Терек, в Россию, для получения образования.

Для такого роста и развития требовалось прекращение нескончаемых войн, разоряющих страну, чтобы народ мог свободно вздохнуть, собраться с силами. И вот, в конце XVIII века, в результате правильной внешней политики царя Ираклия II, грузинский народ обрел долгожданный покой, вступив сначала под протекторат России, а затем присоединившись к ней. Несмотря на все отрицательные стороны царизма, присоединение Грузии к России имело огромное прогрессивное значение для Грузии.

На протяжении первой половины XIX века хозяйственно-экономическая жизнь Грузии интенсивно развивается и создает условия для экономического объединения раздробленной на отдельные провинции страны. Процесс разложения феодализма и развития капиталистических отношений заметно усиливается с 30—40-х годов. Промышленность Грузии особенно быстро развивается после буржуазной крестьянской реформы. Уже в 60-х годах в одной только Тифлисской губернии насчитывается около 500 промышленных предприятий мануфактурного типа, в которых занято было свыше 5.000 наемных рабочих. К этому же периоду относится возникновение первых сравнительно крупных фабрик и заводов. С начала 70-х годов в Грузии капиталистический строй становится господствующим общественным строем. Быстро растет число фабрик и заводов, строятся железные дороги, бурно развивается горнорудная про-



мышленность, формируется промышленный пролетариат.

Свободолюбивый грузинский народ, прошедший длительный путь борьбы и созидательного труда, с помощью великого русского народа преодолевает экономическую и территориальную раздробленность своей страны и к 60—70-м годам XIX века становится единой, более или менее сплоченной нацией. Развитие экономической жизни страны и формирование нации способствовали значительному росту грузинской культуры и повышению национального самосознания народа.

Новые экономические и социально-политические условия Грузии были почвой для возникновения новой демократической и революционной идеологии. Передовые силы грузинской общности еще задолго до отмены крепостного права развернули непримиримую борьбу против крепостничества и самодержавия. Эта борьба была тесно связана с великой освободительной борьбой русского народа. В конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов прошлого века в Грузии, так же как и по всей России, создалась вполне назревшая революционная ситуация. Имя народного героя Арсена из Марабды, отважно боровшегося против произвола князей и купцов-ростовщиков еще в 30-х годах XIX века, стало исключительно популярным среди народа. Крестьянское движение охватило почти всю Грузию. Особенно крупными были крестьянские вооруженные восстания в 1857 году в Мингрелии и Имеретии, в 1862 году в Гурии, а в 1866 г. в Абхазии. Вместе с крестьянами против устоев старого строя активно боролась и городская беднота. В 1865 году в Тбилиси вспыхнуло крупное восстание ремесленников и городской бедноты. По всей Грузии разлилась волна народного возмущения.

В этой обстановке родились страстные революционные призывы Ильи Чавчавадзе, зажигавшие сердца угнетенных, звавшие на борьбу против старого мира:

Труд на земле давно порабощен,  
Но век идет — и тяжкие оковы  
Трещат и рвутся, и со всех сторон  
Встают рабы, к возмездью готовы.

Освобождение честного труда —  
Вот в чем задача нынешнего века,  
Недаром бурь народных череда  
Встает во имя братства человека.

Не устоит отживший, старый мир  
Перед могучим вихрем обновления,  
Не выдержат грабитель и вампир  
За правду справедливого сраженья.

Падут оковы, рушится оплот  
Проклятого насилия мирового,  
И из побегов новых расцветет  
Страна моя, родившаяся снова.

(Из поэмы «Видение», перевод

Н. Заболоцкого).

60-е годы прошлого века являются годами великого перелома в истории Грузии, периодом быстрого развития новых буржуазных экономических отношений и одновременно периодом завершения процесса формирования грузинского народа в единую буржуазную нацию. Этому периоду соответствует период обновления и быстрого развития многовековой грузинской культуры, которую грузинский народ пронес через века борьбы и испытаний.

Так выглядела, в общих чертах, историческая обстановка, обусловившая

вступление Ильи Чавчавадзе на общественную арену и определившая его прогрессивные идеи. Новые условия материальной жизни общества потребовали появления новых людей, новых идей, которые должны были выразить и не могли не выразить эти самые новые изменившиеся условия жизни, интересы и чаяния вновь сформированной нации. Говоря словами самого Ильи Чавчавадзе, «обновленная отчизна породила любовь к отчизне, породила патриотов, и нет ничего удивительного в том, что прошлое, настоящее и будущее отчизны стало предметом исследования и изучения».

Бесспорно, что вне вышеуказанных благоприятных исторических условий невозможно было бы возникновение и распространение прогрессивных, революционно-демократических идей, пронизывающих творчество И. Чавчавадзе.

Однако помимо общих благоприятных условий материальной жизни общества существовали еще и специфические условия, легшие в основу мировоззрения

*СОВЕРШЕННО необходимо, чтобы сердце человека было настолько чутким, чтобы оно всегда билось бы тревогой за судьбу своей страны и не давало ему покоя. Человек должен быть настолько возвышен в нравственном отношении, чтобы свое самолюбие, имя, славу видеть только в служении родной стране и объемом этого служения измерять достоинство человека вообще и свое, в частности.*

И. Чавчавадзе.



И. Чавчавадзе и ставшие теоретическими источниками этого мировоззрения. Таковыми источниками, определившими возникновение мировоззрения Ильи Чавчавадзе, так же как и характер этого мировоззрения, наряду с общим состоянием грузинской общественно-экономической жизни следует считать, во-первых, идеи революционно-освободительного движения России, а во-вторых, достижения многовековой грузинской культуры и общественной мысли.

## II

Передовые люди Грузии прилагали много усилий к культурному и политическому сближению Грузии с Россией. Естественно, что после присоединения Грузии к России связь передовых людей Грузии и России стала еще более тесной, усилилось влияние передовой русской культуры на развитие грузинской культуры. Еще задолго до 60-х годов не одно поколение грузинской молодежи ездило для получения образования в Россию.

Однако до 60-х годов эти передовые люди не могли оказать какого-либо значительного влияния на общественную жизнь Грузии. Это объясняется тем, что развитие материальной жизни общества в первой половине XIX века в Грузии еще не достигло того уровня, когда создаются условия для социальных и политических преобразований. Такие условия в Грузии создаются лишь в конце 50-х и в начале 60-х годов прошлого столетия.

Исключительно благоприятными были и те условия, в которых оказались Илья Чавчавадзе и его единомышленники в России. Это было время, когда «Колокол» Герцена и «Современник» Чернышевского гремели во всю свою мощь. К их голосу прислушивалась вся передовая Россия.

Передовые идеи великих русских революционных демократов оказали решающее влияние на формирование мировоззрения Ильи Чавчавадзе и стали одним из главных его теоретических источников.

Однако сказанным не исчерпывается значение русской культуры и общественной мысли в целом для формирования взглядов И. Чавчавадзе. На творчество Чавчавадзе значительное влияние оказали также классики русской литературы — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Л. Толстой. Не случайно, что будучи еще студентом, Илья Чавчавадзе с увлечением и любовью занимался переводами прекрасных образцов русской поэзии.

Друзья И. Чавчавадзе, учившиеся вместе с ним в Петербургском университете, отмечают, что в студенческие годы поэт не проявлял особенного усер-

дия в изучении официальных университетских дисциплин. Зато он целые ночи напролет просиживал за чтением книг, занимаясь предметами, которые его лично интересовали. Несомненно, что Чавчавадзе со всей энергией взялся за изучение произведений великих русских мыслителей и писателей, очень часто соответствовавших и отвечающих его собственным настроениям.

В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов в Петербургском университете учились десятки грузин: А. Церетели, Н. Николадзе, Г. Церетели, Б. Гогоберидзе, К. Лордкипанидзе и др., ставшие впоследствии выдающимися общественными деятелями своей страны. Грузинские студенты в Петербурге организовали свой кружок, где обсуждали общественные и политические вопросы. По свидетельству известного публициста и прогрессивного общественного деятеля Грузии второй половины XIX века Н. Николадзе, общепризнанным идейным руководителем вышеназванного студенческого кружка являлся Илья Чавчавадзе. Многие члены этого кружка тесно были связаны с русскими студентами-революционерами, а некоторые из них, в том числе сам И. Чавчавадзе, были связаны с Чернышевским и Добролюбовым. Этот факт подтверждается, в частности, в сообщении писателя и общественного деятеля Грузии Р. Хомлели, который в статье, опубликованной еще в 1909 г., писал: «И лучший журнал России «Современник», и его выдающийся экономист Н. Г. Чернышевский, которого близко знал наш студент Илья, как об этом он сам говорил мне и Николаю Хизанишвили<sup>1</sup>, проповедовали, чтобы крепостного крестьянина освободить с землей. И наш Илья до конца своей жизни служил этой идее... Проповедь Н. Чернышевского и Ильи Чавчавадзе была увлекательной»<sup>2</sup>.

Свою первую критическую статью «Несколько слов по поводу перевода «Безумный» Козлова князем Ревазом Шалвовичем Эристави» И. Чавчавадзе написал еще будучи студентом, в 1860 г. в Петербурге. Она была напечатана в журнале «Цискари» («Заря»), единственном литературном органе, выходившем тогда на грузинском языке. Статья имела исключительный успех. В ней все было ново: содержание пленяло читателя новыми мыслями о значении литературы и искусства, прямо вытекающими из великих идей Белинского и Чернышевского; форма удивляла своей смелостью, остротой и прямоотой критики, меткостью нанесенного удара; язык статьи — великолеп-

<sup>1</sup> Н. Хизанишвили — ученый-этнограф и общественный деятель Грузии, личный друг Чавчавадзе.

<sup>2</sup> См. полное собр. соч. И. Чавчавадзе, Тбилиси, 1950, том I, стр. LI.



ный народный язык — был совершенно неожиданным явлением в тогдашней грузинской литературе, в которой долгое время господствовал «высокий штиль» феодальной аристократии. Провозгласив материалистический тезис, что «поэзия есть олицетворение (воспроизведение) истины, жизни, а не цепь бестолково связанных рифм», И. Чавчавадзе беспощадно обрушивается на представителей идеалистического искусства, оторванного от жизни народа. В то же время он в своей статье восторженно говорил о «первейших звездах русской литературы» — Пушкине, Лермонтове, Гоголе, о гениальном Байроне, о знаменитом польском поэте Мицкевиче, о великом грузинском поэте XII века Руставели и о других классиках грузинской литературы.

Против автора статьи единодушно выступили консервативно-реакционные силы. В «Цискари» сразу были напечатаны три статьи представителей старого поколения, полные бессильной злобы и возмущения. Борьба разыгралась, вся общественная жизнь пришла в движение. Вторая знаменитая статья И. Чавчавадзе — «Ответ», напечатанная в том же журнале «Цискари», произвела на общество огромное впечатление и имела еще больший успех, чем первая.

Идейные противники Чавчавадзе сразу заметили источник его новых, революционных мыслей и стали «разоблачать» его, упрекая, что он всецело подражает Белинскому и Чернышевскому. Так, один из его критиков — Г. Баратов<sup>1</sup> писал: «Чавчавадзе... подготовился в Петербурге, как Дон-Кихот, вместо щита в левой руке держал тома Белинского... и вооруженный таким образом он отправился в поход на Грузию». «Нет, уважаемый Чавчавадзе, — писал другой противник, — нам и вам в данном случае не подойдет подражать Белинскому и Чернышевскому»<sup>2</sup>.

Однако Илья Чавчавадзе был совсем другого мнения. Он не только не скрывал, но, наоборот, всячески подчеркивал, что является учеником и последователем великих русских революционных демократов.

Скоро И. Чавчавадзе пришлось убедиться, что сотрудничать в журнале «Цискари» для него невозможно, и он задумал издание нового, собственного журнала. В начале 1863 года под руководством И. Чавчавадзе начал выходить новый журнал «Сакартвелос Моамбе» («Вестник Грузии») — боевой орган нового поколения. Несмотря на то, что этот журнал просуществовал всего один год, он сыграл огромную роль в деле развития грузинской литературы и общественно-политической мысли. В

журнале наряду с бессмертными художественными произведениями Ильи Чавчавадзе и других классиков грузинской литературы печатались переводы произведений Белинского и Добролюбова, Грибоедова и Лермонтова.

Из всего сказанного становится ясным, какое огромное значение имели русская литература, труды революционеров-демократов для формирования взглядов И. Чавчавадзе.

Следует отметить, что сам Илья Чавчавадзе прекрасно сознавал исключительно благоприятное влияние русской литературы и передовой русской общественной мысли на развитие грузинской литературы, в частности, на развитие его собственного творчества. Вот в каких замечательных словах характеризует он значение русской литературы для Грузии:

«Бесспорно, что русская литература оказала большое руководящее влияние на путь нашего развития, оказала большое воздействие на то, что составляет нашу духовную силу. Она наложила свою печать на наш разум, нашу мысль и наше чувство и вообще на все направление нашей жизни. Ныне нет у нас ни одного деятеля в литературе или на арене общественной жизни, который был бы свободен от влияния указанной литературы. И не удивительно: русская школа, русская наука открыли нам двери к просвещению и русская литература дала пищу нашему разуму, питала нашу мысль по пути ее развития... Каждый из нас воспитан на русской литературе, каждый из нас на ее выводах основывал свою веру, свое учение и предмет своей жизни на поприще общественной деятельности выбирал согласно ее выводам»<sup>1</sup>.

Таково влияние русской передовой мысли и русской литературы в целом на формирование мировоззрения Ильи Чавчавадзе.

Но было бы ошибкой думать, что И. Чавчавадзе просто перенимал мысли и понятия из русской литературы, копировал русских мыслителей и писателей. Внимательное изучение богатого наследия Ильи Чавчавадзе убеждает нас в том, что достижения русской литературы он освоил творчески — применительно к жизни своей отчизны. Опираясь на передовые идеи русской философии и русской литературы, Илья Чавчавадзе старался выработать собственное учение, такое, которое соответствовало бы жизни его родины и способствовало бы решению назревших общественных вопросов, коренной перестройке жизни Грузии. При этом И. Чавчавадзе, хорошо понимая, что передовая русская мысль не стоит на месте, а непрерывно развивается, ста-

<sup>1</sup> См. «Цискари», 1861 г., № 6, стр. 147.

<sup>2</sup> См. «Цискари», 1863 г., № 3, стр. 434.

<sup>1</sup> И. Чавчавадзе, Сочинения, т. VIII, стр. 285.



рался не отставать от русской литературы и шел с ней в ногу.

Вот что говорит сам И. Чавчавадзе:

«Разумеется, такое влияние русской литературы могло принести пользу только лишь тем, кто умел пропустить сквозь огонь собственной критики выводы этой литературы, не брал их слепо на веру, не присваивал их, не наматывал на ус, чтобы легче пройти по жизни. Всякая мысль обращается в пустую фразу в руках того, кто усваивает ее, не закалив в огне собственной критики...»

К счастью, мы можем сказать, что, воспитанные на русской литературе, некоторые наши деятели, закаленные ею, не отдавались слепо неизбежному влиянию этой литературы. Они сперва исследовали выводы этой литературы и уже потом либо принимали, усваивали, либо отвергали их. Утешительно, что, не ограничиваясь этим, критикуя и исследуя, они следовали за ростом этой литературы, не отставая от нее, от ее успехов, не останавливаясь на каком-либо одном ее этапе».

Следует задать такой вопрос: на что опирался писатель, стараясь «закалить в огне собственной критики» нужные ему мысли и взгляды? Или, говоря другими словами, каким мериллом обладал он для творческого освоения и переработки на свой лад замечательных достижений русской литературы?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо окинуть взглядом достижения грузинской культуры и грузинской общественной мысли, сыгравшие, наряду с русской культурой, решающую роль в деле формирования мировоззрения Ильи Чавчавадзе.

### III

Развитие грузинской культуры имеет многовековую историю. Еще до возникновения христианства грузинский народ создал свою письменность. В Грузии очень рано формируются феодальные отношения, а в X—XII вв. наблюдается замечательный расцвет грузинской феодальной культуры. Деятельность таких выдающихся философов, какими были Иоанн Петрици и Арсен Икалтоели, расчистила путь для выступления целой плеяды прославленных писателей и поэтов XII века. О развитии грузинской культуры того периода свидетельствуют такие значительные литературные памятники, какими являются, например, «Висрамиани», «Абдул Мессия» Шавтели, оды Чахрухадзе и др. Но венцом феодальной культуры и величайшим памятником грузинской литературы является бессмертная поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

В XIII веке на Грузию обрушилось величайшее народное бедствие: неисчислимые монгольские орды нахлынули

на страну. Потянулись века длительных тягчайших войн, с краткими передышками, вплоть до XVIII века. Эти опустошительные войны поглотили материальные и духовные силы народа и лишили его возможности дальнейшего культурного роста. Однако было бы неверно думать, что рост грузинской культуры вовсе прекратился за этот длинный ряд веков. Факты показывают, что блестящие традиции эпохи Руставели не угасали даже в самые мрачные времена. Народ бережно хранил и мужественно пронес свою высокую культуру через неисчислимые бедствия и испытания. Начавшийся со второй половины XVII века значительный экономический и политический подъем в стране вызвал рост духовной культуры народа. В начале XVIII века в Тбилиси была основана первая грузинская типография, появились значительные научные, художественные произведения; прославленные имена поэтов и писателей Арчила, Теймураза, Сулхан-Саба Орбелиани, Давида Гурамишвили и др. подтверждают непрерывность традиций грузинской культуры и ее животворную силу.

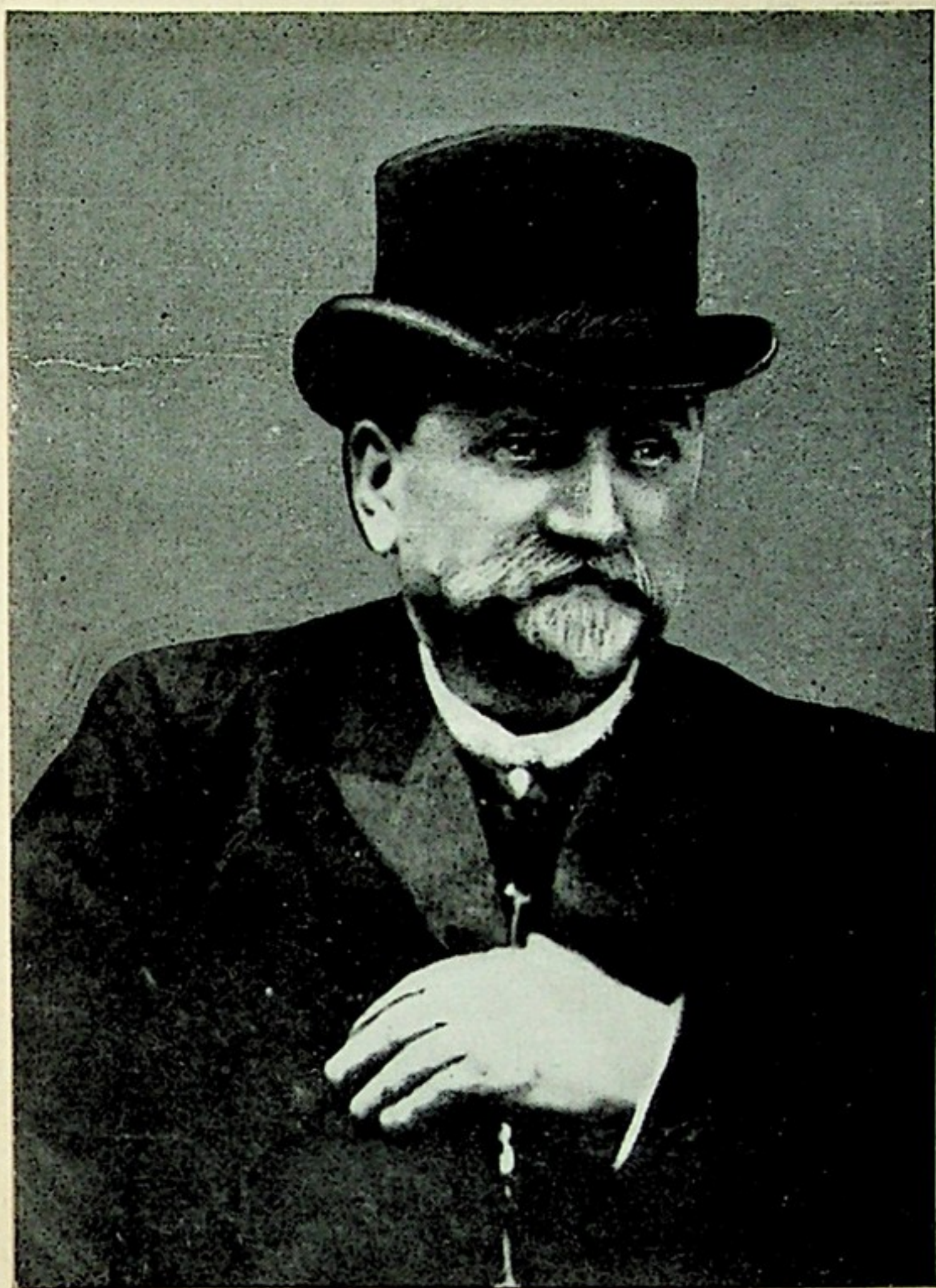
Илья Чавчавадзе прекрасно понимал значение этих традиций и усердно изучал все наиболее значительные памятники грузинской литературы. Особенное внимание уделял он изучению бессмертного творения Руставели. Его статья «Акакий Церетели и «Вепхис ткаосани» является большим вкладом в дело изучения поэмы Руставели.

Насколько высоко ценил Илья Чавчавадзе деятелей грузинской культуры, видно из его статьи «Почему у нас отсутствует критика». Полемизируя с теми, кто полагает, что причину отсутствия серьезной критики в тогдашней Грузии нужно искать в слабости грузинской литературы в целом, Илья Чавчавадзе писал: «Не будем говорить о нашей древней литературе, озаренной щедрым светом «Вепхис ткаосани» — этого бездонного моря мыслей и чувств, не станем говорить ни о Давиде Гурамишвили, дидактическая поэзия которого не поблекнет от сравнения хотя бы с Лукрецием, Вергилием и Горацием... Не станем говорить о царе Вахтанге VI, об Арчиле, Теймуразе I и Теймуразе II, которых никто не может упрекнуть в легкости мыслей и чувств. Они ждут своих умных и проникновенных критиков, которые могли бы воздать им должное, увенчать достойной славой их замечательную умственную деятельность».

Достаточно вспомнить нашу поэзию девятнадцатого века и ее выдающихся представителей, начиная от Ал. Чавчавадзе и до нынешних наших писателей».

Огромные заслуги принадлежат Илье Чавчавадзе в исследовании грузинской литературы девятнадцатого века. В этой связи особенно следует отметить его,





ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

Из группового снимка 1898 года. Подлинник хранится в Государственном литературном музее Грузии. Публикуется впервые.



хоть и не законченный, но в высшей степени значительный труд, названный им «Письмами о грузинской литературе девятнадцатого века». Илья Чавчавадзе дает интересный по своей глубине и охвату анализ грузинской литературы с начала XIX века вплоть до 60-х годов. Он последовательно разбирает творческую деятельность Ал. Чавчавадзе, Гр. Орбелиани, Г. Эристави, В. Орбелиани, Р. Эристави и особенно подробно останавливается на творчестве Николоза Бараташвили как лучшего представителя своей эпохи.

Богатое наследие выдающихся писателей первой половины XIX века, не говоря уже о Руставели и других представителях древней литературы, не могло не оказать большого влияния на творчество Ильи Чавчавадзе — прямого продолжателя славных традиций грузинской литературы.

О том, насколько велико было непосредственное воздействие предшественников на творчество Ильи Чавчавадзе, свидетельствует друг детства писателя Кохта Абхази: «Помню, однажды, — пишет Абхази, — поехали мы в гости из Павловска в Царское Село к г-же Дадани. Г-жа Дадани показала нам стихи Николоза Бараташвили, писанные рукой самого Бараташвили. То были поэма «Судьба Грузии» и стихотворение «Мерани». Нельзя себе представить, какое огромное впечатление произвели эти произведения на Илью. Юноша всю неделю бредил поэзией Бараташвили»<sup>1</sup>.

В 1861 году Илья Чавчавадзе оставил Петербург и выехал на родину. К этому времени, надо полагать, мировоззрение его в основном уже определилось и, как он любил говорить, «завязь жизни» уже была завязана. Все его внимание, все мысли и думы были обращены к тому, как бы лучше использовать свои идеи и взгляды для блага родины. Настроение писателя того периода, так же как и основные линии его мировоззрения, переданы им в его знаменитых «Записках путника».

Подводя итоги своего четырехгодичного пребывания в России, Илья Чавчавадзе писал: «Четыре года прожил я в России и не видел своей страны. Четыре года!.. Знаешь ли ты, читатель, что это за четыре года! Во-первых, они равны целому веку для того, кто оторван от своей страны. Во-вторых, эти четыре года являются фундаментом для всей жизни, первоисточником ее, мостом из тонкого волоса, перекинутым судьбой между мраком и светом. Однако так это бывает не для всех, а только для тех, кто едет в Россию для того, чтобы развить свой ум, чтобы побудить к движению мозг и сердце, заставить себя сделать первые шаги. Это те самые че-

тыре года, когда в голове и сердце юноши появляется первая завязь жизни. А завязь эта такова, что из нее может вырасти и прекрасная гроздь винограда, напоенная солнечным светом, и кислый дикий виноград. О-о, вы, дорогие сердцу моему четыре года! Счастье тому, под чьей стопой не подломился перекинутый вами мост; счастье тому, кто сумел с толком использовать вас!».

Итак, Илья Чавчавадзе вернулся на родину, обогащенный знаниями, вооруженный новыми идеями, с твердым решением бороться до конца за благо родины, за счастье народа.

Но Илья Чавчавадзе прекрасно знал, что на его жизненном пути стояли серьезные препятствия. Недаром он говорит о четырех годах, проведенных в России, как о мостке из тонкого волоска между тьмой и светом. Не трудно понять, о какой борьбе между тьмой и светом идет здесь речь.

В тот период общественная жизнь в Грузии находилась еще в застое. Правда, уже было налицо улучшение условий материальной жизни, была расшатана хозяйственная обособленность феодальных владений, и страна быстро шла по пути общего экономического развития, и это создавало необходимые условия для быстрого культурного роста. Но, тем не менее, такой рост пока еще мало был заметен. Критическая мысль еще не просыпалась, в литературе господствовали консервативные взгляды и соответствующие им устаревшие формы языка, стиля. В этих условиях вопрос, волновавший автора «Записок путника», вовсе не представляется нам праздным вопросом. «Как я встречу со своей страной, — писал И. Чавчавадзе, — и как она встретит меня... Что новое могу я сказать ей и что скажет она мне? Возможно, она примет меня как сына родного, прижмет к груди и станет жадно слушать мой рассказ. Но смогу ли я сказать ей мои заветные слова, чтобы теми словами подать надежду на исцеление больного, смогу ли утешить безутешную, утереть слезы плачущей, облегчить труд труженику и собрать воедино с каждой искру, которая не может не гореть в каждом человеке. Смогу ли я?»

И на эти волнующие вопросы Илья Чавчавадзе дает положительный ответ: «Я решил, что моя страна примет меня, как родного», — говорит он. И надо сказать, что такое решение не было плодом поэтической фантазии или результатом благих намерений писателя. Оно опиралось на трезвый и конкретный анализ положений дел в Грузии того периода. Несмотря на то, что общественная мысль в тогдашней Грузии находилась еще в дремотном состоянии, над нею уже веяло дуновение нового времени, из глубин общественной жизни двинулись новые силы, властно требующие

<sup>1</sup> «Литературное наследство» (на груз. языке), Тбилиси, 1935 г., кн. 1, стр. 564.



себе новых путей, новых идей. Эту общественную мысль уже не удовлетворяли устаревшие консервативные взгляды, архаический язык и такой же архаический «высокий штиль» аристократии. Да и само это дремотное состояние грузинской мысли по существу было только внешним, кажущимся. В действительности уже началось пробуждение литературной мысли. Основание для такого суждения Илья Чавчавадзе мог видеть хотя бы в том необычайно широко и активном отклике, который вызвала его статья «Несколько слов по поводу перевода «Безумный» Козлова», присланная им еще из Петербурга и напечатанная в единственном грузинском журнале — «Цискари». И. Чавчавадзе лучше других знал цену этого отсталого от жизни консервативного органа и шутя говорил, что он является не «вратами неба», а скорее «вратами ада»<sup>1</sup>, но самый факт существования даже такого журнала на грузинском языке был явлением положительным. Именно так расценивал значение журнала «Цискари» сам Илья Чавчавадзе. Он говорил: «Хорошее в нем было то, что он существовал. Иной раз даже само существование является заслугой».

Таким образом выступление Ильи Чавчавадзе на общественную арену было обусловлено не только развитием тогдашней экономической жизни Грузии, но и существованием больших традиций многовековой грузинской культуры, традиций, которые, несмотря на бесконечные испытания, никогда не прерывались, и в которых к моменту выступления Ильи Чавчавадзе и его единомышленников наблюдались явные признаки оживления.

Таким образом, мы указали на главные источники мировоззрения И. Чавчавадзе. Однако было бы неверно, если бы мы не учли значения европейской культуры для формирования взглядов писателя. Достижения европейской критической мысли XVIII—XIX веков широко распространялись в России и, следовательно, делались достоянием и грузинской общественной мысли. О поколении «Тергдалеулеби» Илья Чавчавадзе говорил, что это поколение «воспитывалось и получало образование на русской литературе и науке, а также на иностранной литературе, и то через русское посредство». Изучение творчества Чавчавадзе убеждает нас в том, что он сам прекрасно знал и античную культуру, и эпоху Возрождения и представителей новой европейской культуры. В одной из рукописей Ильи Чавчавадзе, хранящейся ныне в Грузинском государственном музее, имеются «записи» на французском и русском языках, в которых перечисляется ряд книг, прочитан-

<sup>1</sup> «Цискари» — буквально означает «врата неба».

ных и проработанных им в один из периодов его жизни в Петербурге. В этих «записях» названы Бэкон, Декарт, Шекспир, Диккенс, Гете и Шиллер и книги по истории Афинской республики, и «Теория механики» и др. В дальнейшем Илья Чавчавадзе не ограничивается простым знакомством с европейскими авторами и наряду с бессмертными творениями Пушкина и Лермонтова переводит на грузинский язык целый ряд произведений таких писателей, как Шекспир и Байрон, Гете и Шиллер, Гейне и Вальтер Скотт.

Следует подчеркнуть, что Илья Чавчавадзе вовсе не был слепым последователем или подражателем кого-либо из указанных выше мыслителей и деятелей. Ни одно положение не принимал он слепо, на веру, не проводя его через собственную критическую мысль. Он был оригинальным и глубоким мыслителем. В науке, знании он видел средство для перестройки мира, средство для улучшения жизни человека. Поэтому концепцию свою он строил применительно к нуждам реальной жизни своей страны, применительно к своей эпохе. Эта концепция была наиболее передовой для своего времени.

Такова была историческая обстановка, в которой формировались общественно-политические воззрения Ильи Чавчавадзе.

#### IV

В грузинском литературоведении и критике не было (да, пожалуй, нет и сейчас) единого общепринятого мнения о классовых основах общественно-политических воззрений Ильи Чавчавадзе. Происходили острые дискуссии, частично продолжающиеся до наших дней. Некоторые критики, главным образом из числа вульгаризаторов марксизма — рапповцев, объявляли Илью Чавчавадзе апологетом феодального строя, идеологом и активным защитником дворянско-крепостнической Грузии. Конечно, это — грубейшее извращение действительности, не имеющее под собой никакой реальной почвы. Однако, несмотря на это, надо признать, что рапповские критики более или менее правильно подметили слабую сторону концепции Ильи Чавчавадзе. Дело в том, что И. Чавчавадзе, ведя жестокую борьбу против дворянско-крепостников, не ставил вопроса об уничтожении дворянства, как класса, так же как не ставил вопроса об уничтожении частной собственности вообще; он хотел по-своему перестроить как помещичье, так и крестьянское хозяйство и урегулировать отношения между всеми классами общества на началах справедливости, братства и равенства. Вместе с тем он, ради сохранения «единства нации», помышлял сохранить дворянство, хотя бы на первом этапе существ-



вованія задуманного им «справедливого общества». Но само собою разумеется, что объявлять на этом основании Илью Чавчавадзе идеологом дворянства ни в коем случае нельзя, ибо тогда мы совершенно не смогли бы понять и объяснить исключительно прогрессивный характер его мировоззрения.

Другая часть исследователей и критиков утверждает, что И. Чавчавадзе был активным сторонником развития капитализма в стране и идеологом буржуазного класса. Следует отметить, что множество трудов И. Чавчавадзе и вся его практическая деятельность свидетельствуют о том, что он действительно был сторонником развития промышленности в Грузии и, в противовес народникам, все свои надежды возлагал на новые экономические отношения. Однако наряду с этим в трудах Ильи Чавчавадзе мы встречаем резкую критику капиталистического общества, беспощадную обличительную борьбу против капиталистов, купцов, ростовщиков, кулаков и других эксплуататоров народа. Поэтому, на наш взгляд, объявив Илью Чавчавадзе идеологом буржуазии, мы не смогли бы понять важнейших сторон его мировоззрения, не смогли бы объяснить глубоко народного характера его творчества.

Третья группа критиков доказывает, что Илья Чавчавадзе был непримиримым врагом как помещиков, так и буржуазии, и в своей идеологии выражал интересы трудящихся. Носители такого взгляда часто впадают в крайность: они представляют И. Чавчавадзе социалистом и последовательным сторонником революции. Но, несмотря на такую крайность этого мнения, нельзя не признать, что в их рассуждениях есть много правильных мыслей. Действительно, многие прекрасные страницы произведений Ильи Чавчавадзе посвящены защите интересов трудового народа; с любовью и восторгом воспевал он героических борцов за правду и свободу. До конца жизни великий писатель оставался верным другом трудового народа и преданным защитником угнетенных. Однако было бы грубой ошибкой думать, что И. Чавчавадзе был социалистом и последовательным сторонником революционных методов борьбы трудящихся против буржуазии и помещиков.

Наконец, существует мнение, что И. Чавчавадзе не был идеологом одного какого-либо класса, а выражал интересы всего народа, всей грузинской нации. Это безусловно ошибочное мнение, разделяемое и некоторыми современными литературоведами в Грузии, заслуживает нашего особого внимания прежде всего потому, что исходит от самого И. Чавчавадзе и его единомышленников. Илья Чавчавадзе искренно верил, что он служит не какому-либо одному классу общества, а всему грузинскому народу, служит всей нации. Этим объясняется, что

он всегда говорил не только о народе вообще, но и о нации вообще. В такой вере утверждала его своеобразная историческая обстановка, тогдашняя общественная жизнь его страны.

Как уже было сказано выше, И. Чавчавадзе выступил на общественную арену на меже двух общественных формаций, когда быстро ломались старые, феодальные, отношения, а их место занимали новые, капиталистические, отношения. Экономическое объединение страны обусловило завершение процесса становления грузинской нации: этот процесс сопровождался новым мощным подъемом всей грузинской культуры. В такой сложной и своеобразной исторической обстановке трудно было увидеть неизбежные и острые противоречия нового уклада жизни, его отрицательные стороны. Поэтому не удивительно, что И. Чавчавадзе, великий просветитель своего народа и типичный шестидесятник, говорил от имени всего народа. Ведь выступление от имени всего народа и заботы об интересах «всей нации» составляли черты просветителей не только в Грузии и в России, но и в Западной Европе.

Вот что говорит в связи с этим В. И. Ленин: «Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного»<sup>1</sup>. И дальше: «Просветители не выделяли, как предмет своего особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще»<sup>2</sup>.

Вот почему мы говорим, что Илья Чавчавадзе вполне искренно мог думать, что он выражает интересы не одного какого-либо класса, а всего народа в целом.

Но существуют ли в действительности «общие» интересы всего народа, всей нации, и сможет ли тот или иной мыслитель, какими бы благими намерениями он ни был исполнен, одинаково служить всем классам общества, то есть стать выше классовых интересов, когда

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, т. 2, стр. 473.

<sup>2</sup> Там же, стр. 493.



общество разделено на противостоящие друг другу классы?

Марксизм-ленинизм на этот вопрос отвечает отрицательно. В обществе, в котором существуют и действуют антагонистические классы, ни один мыслитель, даже в переходных этапах, не может полностью выключиться из сферы классовых противоречий и стать выразителем интересов и стремлений «всей» нации, ибо в действительности каждый класс имеет свои собственные интересы, чаяния и устремления, которые, как правило, не совпадают, а, наоборот, противоречат интересам других классов. Исходя из такой точки зрения, мы не можем разделить мнение некоторых товарищей, что будто бы «нельзя И. Чавчавадзе считать идеологом одного какого-либо класса». Наоборот, можно и необходимо считать его в основном идеологом одного класса, а именно идеологом крестьянства — «этого, как он говорил, большинства грузинского народа, души и сердца наших национальных надежд». С трудовым крестьянством связывал Илья Чавчавадзе свои идеалы о будущем лучшем обществе.

Но не надо забывать, что крестьянство уже к тому времени не было единой и однородной массой. Процесс разложения и дифференциации крестьянства начался еще в дореформенный период, а после реформы этот процесс пошел быстрыми темпами. Одна, и притом большая, часть крестьянства, шла по пути пролетаризации и все более нищала; другая, незначительная, часть — быстро прибирала к рукам имущество и богатела, то есть пополняла ряды буржуазии. Совершенно очевидно, что в таких условиях все крестьянство в целом не могло иметь более или менее прочных, длительных общих интересов. Нечего и говорить о том, что никакая идеология не могла примирить интересы помещиков-дворян и крестьян, крестьян и буржуазии, между которыми все более нарастали противоречия. Без учета всех этих обстоятельств, при исследовании взглядов и мировоззрения Ильи Чавчавадзе легко впасть в одностороннюю ошибку и невозможно правильно оценить богатое, многостороннее его наследие.

Более того, для полной характеристики эпохи, к которой относится деятельность Ильи Чавчавадзе, и для всестороннего ее изучения сказанного выше еще не достаточно; для этого необходимо принять во внимание также тот исторический факт, что тогдашняя Грузия являлась бесправной царской колонией, испытывающей жестокий национальный гнет со стороны царизма. Если судьба прогресса в России была связана с уничтожением крепостного права (а затем и его последствий, остатков), то в Грузии наряду с этим со всей остротой стояла проблема уничтожения нацио-

нального гнета. Национальный вопрос являлся осью тогдашней политической жизни Грузии и, совершенно очевидно, не мог не оказывать влияния на характер мировоззрения Ильи Чавчавадзе.

В то время, как в России содержание и цель освободительного движения состояли в освобождении народных масс от социальной несправедливости, в Грузии это движение не могло не вобрать в себя также проблему освобождения грузинского народа от национального угнетения и бесправия. Так под влиянием русского освободительного движения возникло грузинское национально-освободительное движение, главным вдохновителем которого явился Илья Чавчавадзе.

## V

Взгляды И. Чавчавадзе на процесс развития истории человечества отличаются большой глубиной и научностью. В этом смысле Илья Чавчавадзе стоит на голову выше французских материалистов (и вообще всех представителей механического материализма), думавших, что мнения правят миром, точно так же, как стоит он выше народников, полагавших, что история создается отдельными выдающимися личностями — «героями», а народ — «толпа», слепо и бессознательно идет за ними.

Для уяснения общественных взглядов И. Чавчавадзе особый интерес представляет его статья «Об экономическом укладе древней Грузии». Вот что пишет он в этой статье: «История нашего народа и нашей страны очень темна и не разработана. В этой истории либо совсем отсутствуют факты о жизни нашего народа, либо, если кое-где и встречаются эти факты, то и они очень сомнительны. Мы говорим о таких фактах истории, где присутствует в целом народ и показывает свои черты, свое участие в истории.

Одним словом, над нашей внутренней жизнью завеса пока еще не приподнята и она неведома нам. Наша летопись «Картлис Цховреба» является не историей народа, а историей царей, а народ, как действующее лицо истории, остается в тени. Как будто достаточно знать историю царей для того, чтобы узнать историю народа. Даже деятельность царей показана лишь в области внешних дел, а не в области внутренних дел».

С такой глубоко научной точки зрения старался изучить явления истории И. Чавчавадзе. Он знал, что, хотя, в результате тогдашней отсталости исторической науки, «ни один исторический факт жизни нашего народа не подкреплен достоверными историческими документами», но, тем не менее, есть одно такое историческое явление, которое «никто не может отрицать и которое и



поне удивляет всех, кто только обращал внимание на это явление». Это то, что «наш народ живет собственной жизнью, собственной деятельностью, вот уже две тысячи лет... За эти две тысячи лет не было такого периода в его истории, когда он хотя бы сто лет подряд прожил в мирных условиях». На протяжении почти всей своей истории «Грузия день и ночь стояла с оружием в руках и непрерывно отражала иноземных захватчиков, боролась, воевала, проливала кровь». Но, несмотря на это, наша страна выстояла против всех испытаний и «ни у кого не осталась в долгу». «Допустим, что сильные руки и могучая грудь могли выдержать это богатырское напряжение, говорит далее И. Чавчавадзе, но удивляет одно: какие средства выдержали такое существование? Чем питалось население, на какие средства народ вел эти бесчисленные войны, проливая свою кровь? Эта небольшая горсточка народа должна была всегда стоять на страже с оружием, чтобы враг не превратил его в прах и не стер с лица земли, — так от кого же и откуда он получал пропитание?»

«Трудно с бесспорной уверенностью ответить на эти вопросы... Только надо думать, что ответ на это может быть найден в нашей экономической структуре, экономическом укладе. Без сомнения, наш экономический уклад в прошлом, очевидно, должен был быть таким, что он мог вынести столько опустошительных войн в течение столь длительных сроков. Вот предмет для замечательного и сугубо интересного исследования. Если бы этот предмет мог во всей ясности стоять перед глазами наших современных историков, если бы по этому предмету мог бы кто-нибудь дать бесспорный ответ, то намного яснее предстало бы перед нами наше настоящее и светлее стал бы наш будущий путь. С нашей стороны было бы непозволительно братья за такое трудное исследование в краткой газетной статье... И все же приходит на ум несколько соображений, и то предположительно, но, кажется, не будет лишним поделиться ими с читателем».

После этого Илья Чавчавадзе высказывает ряд очень интересных соображе-

ний об экономической жизни Грузии в прошлом, стараясь осветить поставленный им вопрос об особенностях экономического устройства. Как справедливо отмечает академик Ив. Джавахишвили, дело не в том, правильны ли сами по себе даваемые И. Чавчавадзе объяснения причин исторической мощи древнегрузинского государства, а в том, что «еще в 1880 году он первым провозгласил необходимость знания экономических основ для понимания всякого исторического процесса».<sup>1</sup>

Это был совершенно новый для тогдашней Грузии взгляд, составивший целую эпоху в грузинской историографии.

Исключительно большое значение имеют взгляды И. Чавчавадзе, высказанные в названной выше статье и во многих других работах, о роли народных масс в истории. В основе исторической концепции И. Чавчавадзе лежит признание решающей роли народа, трудящихся масс в истории. И. Чавчавадзе совершенно справедливо считает, что не цари и выдающиеся личности, а народ, трудовые массы творят историю. Эту мысль И. Чавчавадзе повторяет неоднократно. Например, в одном частном письме (1871 г.) он пишет:

«Проклятая наша история... Она история войн и царей. Народа нигде не видно. А я человек такого склада, что личности царей и войны меня не привлекают. Дело в народе, а народа в нашей истории не видно. Скорблю я об этом, ропщу, а выхода нет».

Признание за народом решающей роли в истории является одним из центральных положений материалистической философии Ильи Чавчавадзе.

На долю Ильи Чавчавадзе выпала честь стать во главе эпохи нового возрождения грузинской национальной культуры. Опираясь на ее богатые традиции, обогащенный передовыми идеями выдающихся русских мыслителей, он впитал в себя все лучшее, что было создано до него грузинской мыслью, грузинской культурой.

<sup>1</sup> Ив. Джавахишвили. «Илья Чавчавадзе и история Грузии», Тбилиси, 1938 г., стр. 10.



# Поэт

Перевод с грузинского М. Максимова.

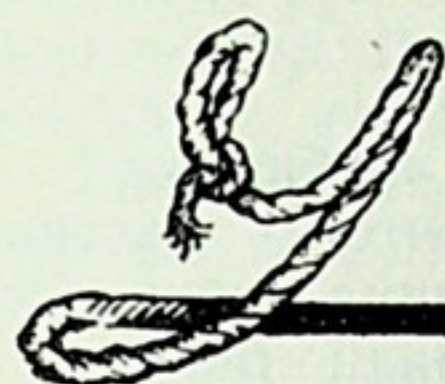
Пусть мне петь необходимо —  
Я бездумной птицей не был,  
И не сладостным кадилом  
В мир меня послало небо.

Я — земной, и я — небесный!  
Я — не бог, но равен богу,  
Коль пою такие песни,  
Чтоб народ вести в дорогу.

И пускай мне сердце гложет  
Божье пламя год от года:  
Я поэт — посланник божий,  
Потому что брат народа.  
И народные невзгоды  
Грудь, как язвы, мне тревожат.

На пиру и в час ненастья  
Жизнь народа — жизнь поэта,  
Наделен я высшей властью —  
Высекать огонь рассвета,  
Слезы счастья и несчастья  
Утирать с лица планеты!





# ВИСЕЛИЦЫ

РАССКАЗ

Перевод с грузинского Е. Гогоберидзе.

Лето было в разгаре. Долины и горные склоны поблекли и пожелтели от засухи. В тот день, описанием которого мы начинаем нашу повесть, стоял такой зной, солнце так неистово пылало, что земля окуталась дымкой, словно раскаленное тонэ. Истомленные зноем люди едва дышали.

Вот в такой именно день несколько распряженных арб с вином стояли вереницею у самого края Лочинского ущелья. От засухи речка в ущелье пересохла, и вода едва сочилась между камней. Совершенно обессиленные жарой аробщики, подперев козлами передки арб, улеглись в их тени и тотчас же уснули мертвым сном, широко разметав руки. И только несколько парней помоложе стояли у края мелкой заводи. Подвернув полы, они черпали воду деревянными ковшами и обливали изнывающих от зноя буйволов, которые валялись тут же в воде. Невдалеке, у края той же лужи, сбившись в кучу, стояли волы; закрыв глаза, они лениво жевали жвачку и отмахивались хвостами от назойливых мух.

Солнце склонилось к закату; в душном, раскаленном воздухе почувствовалось легкое дуновение. Оно отозвалось и здесь, в этом тихом, глухом уголке. Поднялись, потирая глаза, аробщики; освежили лица холодной водой, — время было запрягать, и они принялись сгонять скотину, которая, едва зной пошел на убыль, разбрелась по лугам, пощипывая пожелтевшую от зноя траву.

— Хо-о... Хио! Чтобы твоего хозяина... — и многое еще, да покрепче, доносилось сквозь шум, поднятый аробщиками.

Уж запрягли, и передовой аробщик взялся за прут, чтобы стегнуть волов и тронуться в путь, как вдруг из-за оврага на дорогу вышли двое юношей, оба в куртках из солдатского сукна. Один из юношей был в солдатской старинного образца бескозырке, другой — в огромной папахе, сползавшей на самые уши; можно было не сомневаться, что подлинный хозяин этой папахи и нынешний обладатель ее — совсем разные люди.

Юноше в папахе было, верно, лет шестнадцать—семнадцать. Другому — не более четырнадцати или пятнадцати. Лицо старшего не отлича-



лось особой привлекательностью. Его тонкий, острый подбородок, узкие, быстрые, беспокойные глаза — к тому же он то и дело моргал — явно говорили о том, что под этой личиной скрывалась мелкая, ничтожная душа. Тот, который был помоложе, кое в чем походил на старшего и в то же время отличался от него. Несмотря на какое-то сходство, младший все же казался милее. Черные глубокие глаза под нахмуренными бровями глядели жестко. Он был угрюм и замкнут. Казалось, его терзает что-то, но он сдерживается, только бы не выдать своего волнения. Первый производил впечатление человека, который, если и пойдет по доброму пути, то все равно не совершит ничего замечательного, если же пойдет по дурному, то и тут окажется способным лишь на мелкое, трусливое воровство. Второй был, по-видимому, совсем иного склада.

— Здравствуйте! — сказал аробщикам старший.

— Ай, здравствуйте! — последовал ответ.

— Вы, верно, в город?

— Здорово угадал! — насмешливо крикнул один из аробщиков.

Старший только улыбнулся в ответ на насмешку; что-то льстивое мелькнуло в его улыбке. Младший еще сумрачнее сдвинул брови. Гнев молнией озарил его лицо, но он быстро овладел собою. Видно было, с каким усилием он поборол свои чувства.

— Да проклянет бог злого человека! — воскликнул старший. — Мы были в тукурмишской школе. Мы братья, князья...

— Бежан! — укоризненно окликнул его младший брат и взглянул так, что тот запнулся на полуслове. Очевидно, младшему не понравилось что-то в словах брата, и он рассердился. Бежан замолчал было, но затем быстро вернулся к прерванному рассказу, уже не обращая внимания на брата.

— Мы братья, князья, — начал снова Бежан. — Отец прислал нам из города один туман, велел, как отпустят, нанять русскую повозку и ехать домой. И мы — да поразит бог злого человека и весь его род! — сговорились с одним человеком, что он свезет нас в город за восемь рублей. Он согласился, но напился дорогой в духане, скинул нас с повозки и повернул обратно, а нас бросил. Пожитки и восемь рублей увез, собачья душа, с собою!

Младший смутился еще больше; повернувшись спиной к аробщикам и брату, он устремил невидящий взгляд в пространство, а потом уставился на заходящее солнце.

— Черкеску увез, обшитую позументом; пять туманов стоит, вот какая черкеска! — продолжал старший. — Впрочем, прах с ней! Старая, заведу себе новую, отец наш человек состоятельный...

Младший резко обернулся, еще более взволнованный и возмущенный.

— Довольно, Бежан, перестань! — сказал он. В голосе его прозвучали гнев и мольба.

Бежан продолжал, по-прежнему не обращая на него внимания:

— Два дня мы ничего не ели. Скверно поступил он с нами, чтоб ему пропасть! Что же нам теперь делать тут, в чужом краю?

— О горе мне, что ты говоришь! — отозвался старый аробщик. — Какая тут чужбина? Послушать вас, выходит — к татарам попали? Страна эта — христианская Грузия. И хлеба вам дадим, и вина разопьем, и повеселимся на славу. Горе злему человеку, что взял на себя грех перед вами. А вам-то что? Довезу до города, да так, что и ветерком не обдует!

Морщинка на лбу у младшего разгладилась, отблеск улыбки скользнул по хмурому лицу. Вернее, лицо его выразило некое радостное удивление, словно он впервые в жизни услышал доброе, человеческое слово. Старик



раскрыл хурджин, протянул путникам по хлебу и нацедил вина из маленького бурдючка.

— Горе тебе, Петре! — снова заговорил старик. — В нашей благодатной словенной стране даже щенок и тот всегда сыт, а вы чего испугались? Ешьте, дети! Не подумайте, будто скупы мы, гостеприимства не понимаем и потому дали вам только по куску черствого хлеба. Ночью я накормлю вас бараньим шашлыком, да таким, что облизнулся бы сам султан.

Петре посадил обоих юношей к себе на арбу. Головному аробщику крикнули, чтоб трогал. Караван двинулся. Запылила иссушенная зноем дорога.

Вечером, в ту пору, когда в деревне садятся ужинать, аробщики распрягли волов на городской окраине. Наступила ночь, им хотелось избежать лишних расходов, связанных с ночевкой скотины в городе. Аробщики сняли с арб по одному, по два полена, привезенных издалека, и разложили костер. Петре зажарил шашлык для своих молодых спутников и угостил их, как мог.

Поужинали. Усталые путники улеглись и крепко уснули. Скотина разбрелась по пастбищу. Несколько аробщиков, как всегда по ночам, стерегли скотину. Петре разостлал бурку и сказал юношам:

— Вы — князья, непривычно вам валяться на голой земле, как мы валяемся.

Юноши легли. Петре пристроился поблизости и заснул мертвым сном.

Сизым стало небо, светало. Аробщики поднялись, но гостей своих Петре уже не нашел на месте. Он огляделся — нет, не видно нигде...

— Горе мне! — воскликнул старый Петре, убедившись, что юношей и след простыл. — Значит, все-таки обманули старого человека. Сбежали! Верно, стащили что-нибудь...

Схватился Петре за карманы, — оказалось, что карманы срезаны. Добрый старик горько усмехнулся.

— А ведь обобрали молокососы меня, старого человека, — с обидою, хоть и улыбаясь, сказал Петре. — Поделом мне! Разве можно так спать, чтобы ничего не слышать! Э, прокляни, господи, старость! Да, сынок, пора, пора уже мне сложить свой лук на землю. Не напрасно твердит старший мой: постарел ты, отец, не годится уже тебе ходить аробщиком в дальнюю дорогу. И правда, не годится. А я еще рассчитывал в Агзевани за солью съездить! Ай та... та... та... Стар стал, дряхлею! Как я домой покажусь, стыд какой! Обокрали! Аробщик вино в город везет, и вдруг обокрали. И кто же? Младенцы! Карманы срезали! Эх, горе мне, горе!

— Много взяли? — спросил кто-то.

— Три рубля с полтиной, — ответил Петре. — Обидно, сынок, не из-за денег обидно, стоит ли о них горевать! Но как снести такой стыд? Молокосос меня обобрал! Кому ни расскажешь, всякий засмеет, жена на смех подымет, изведут соседи! У спящего карманы срезали! Нет, сынок, если уж грузин напялил на себя чужую шапку — конченное дело! Тьфу, дьявол! И кто обокрал? Еще молоко на губах у него не обсохло!.. А тут старик... Ах, тай, тай, тай!.. Дай бог, чтоб на пользу пошло, а с меня довольно и стыда и смеха.

Петре, улыбаясь, качал головой, как бы желая обратить все это в шутку, но на душе у него и в самом деле было нехорошо.

## II

Прошло четыре года. Близилась весна. Петре, еще более постаревший, ехал в город за жерновами для мельницы. Но как он ехал? Все та-



кой же гордый, уверенный в себе, как и раньше. Правда, теперь у него были на то совсем другие причины.

Петре перестал ездить аробщиком с тех пор, как случилось с ним то досадное происшествие. «Вижу сам, что уже не гожусь», — с огорчением говорил он. Теперь арбою, груженной вином, правил его старший сын. Сам же Петре, важный, как Кейн<sup>1</sup>, перекинув ногу, восседал на огромном, раздувшемся от вина бурдюке. Дорожный петух<sup>2</sup> пребывал на арбе его сына, которому аробщики и поручили предводительство всем караваном. Петре радовался и гордился честью, выпавшей на долю его сына и выделявшей его среди сверстников. Он с удовольствием думал: «Порадую мою старуху, как приедем домой, пусть знает, какую честь оказали нашему сыну».

Петре застрял в городе на несколько дней. Задержался из-за каких-то городских дел и весь караван. Наконец, решили: «Сегодня же вечером на закате тронемся в путь». Петре нагрузил на арбу купленные им жернова и переправил их в тот заезжий двор, где стоял караван.

Было уже около полудня, а вечером они должны были выехать из города. Петре подумал: «Дел у меня никаких, давай-ка схожу на Авлабарский майдан; авось, что услышу».

На площади, как всегда, толпилось множество народу. Собирались кучками, шумели, галдели. Петре замешался в толпу, чтобы послушать, о чем гомонят люди.

Тут он узнал, что как только ударит пушка, на горе Махате повесят какого-то человека. Петре никогда в жизни не видел такого зрелища, и его неудержимо потянуло на Махату.

«Много горя и бед видел я в жизни, — подумал он. — Давай-ка, погляжу и на это!»

Сказал и двинулся вместе с толпой туда, к Махате. На Махате народу тьма, налетели, словно мухи. Поодаль, у самого края площади, поставлена виселица, вокруг нее выстроились солдаты. Перед виселицей оставалось свободным довольно широкое пространство, так как близко никого не подпускали. Петре поглядел по сторонам и удивился, до чего много собралось тут народу — и мужчин и женщин.

«Мужчины — еще понимаю, пришли, скажем, как я, на потеху, но женщины — что их, прости, господи, сюда принесло? Не женское это дело!»

В конце концов он пришел к убеждению, что все это обман — на самом же деле какой-то скоморох или фокусник покажет здесь представление.

«И это не худо, — подумал Петре. — Пожалуй, даже лучше, а то за чем смотреть, как по-настоящему вешают живого человека! Не кошка ведь, чтоб взять да удавить... Что ни говори, человек, и дух божий в нем. Теперь понятно, почему собралось столько женщин. Женщины страсть как падки до колдовства и всяких представлений! А все-таки, зачем обманул меня тот армянин, будто человека повесят? Деревенщина, видишь ли, всему поверит!.. Скажем, поверил, так что же? Представление я все-таки увижу... Но, как перед богом, если бы я сразу же на месте узнал, что будут играть представление, я бы, пожалуй, и не пошел. Ай, ай, ай, и про-

<sup>1</sup> Кейн — дословно — хан (груз.), здесь — персонаж из народного зрелищного представления.

<sup>2</sup> Когда караван отправляется в дальнюю дорогу, на одну из арб сажают петуха, чтобы он своим криком возвещал наступление рассвета. Петуха большей частью сажают на головную арбу. Таким образом, петух заменяет в дороге часы. Старшинство в пути, т. е. право вести первую арбу, считается среди крестьян чрезвычайно почетным; поручали это дело только надежному, предусмотрительному и хорошо знающему дорогу погонщику, владельцу хороших волов или буйволов. (Прим. автора).



ворно же человеческое сердце на грешные дела! Ой, как проворно! Сорвался и кинулся, точно бычок! И куда? Любоваться, как вешают человека! Вон оно, сердце наше, какое маленькое, а сколько в нем греха и благодати».

Много еще всякой всячины перебрал про себя наш празднично блуждающий Петре, вполне убежденный в том, что на Махате будет разыграно какое-то представление, — иначе к чему тут собрались женщины, да и кто бы их сюда пустил?

Кто-то крикнул:  
— Ведут! Ведут!

Петре обернулся и увидел, что солдаты ведут какого-то человека в шинели.

«А, Петре, — наставительно сказал он себе, — смотри, не попадись впросак, не поддавайся дьявольскому наваждению и не вообрази, что все это правда. Обман, и ничего больше! Засмеют тебя, скажут: деревенщина, вот и верит всему!»

Однако он двинулся вперед, захотелось все же взглянуть, что происходит на площади. Проталкивался он до тех пор, пока не очутился в передних рядах. Солдаты совсем близко от него провели этого человека в шинели.

«Ай, прокляни их господь, — подумал Петре. — До чего похожи на настоящих солдат! Э, одеты-то как! И ружья держать обучены. Чего только не придумают городские... Смотри-ка, точь-в-точь русские парни».

Подумал и скользнул взглядом в сторону того, в шинели. Это был молодой человек, двадцати — двадцати одного года. Едва пробившиеся усы торчали, точно у лезгина. Лицо было желто-шафранового оттенка. Какое-то смутное воспоминание мелькнуло в сознании Петре.

«Что это? Парень как будто знакомый! Дай, боже, памяти, где я его видел? — тщетно вопрошал он себя, силясь припомнить, где встречал он этого человека. — Э, да это, верно, городской какой-нибудь, — решил он наконец. — В заезжем дворе на дню снуют тысячи людей, как знать, может, я там его и приметил... Но какой же он бледный, как будто в самом деле вешать его собрались! Верно, это и есть скоморох. Нет, сынок, не надуешь!»

— О горе, горе твоей матери! — восклицали женщины.

— Какой молодой!

Эти восклицания смутили Петре.

«Вот они, женщины! Волос долог, да ум короток, — рассудил он про себя. — Как легко их провести! Сами притворщицы и колдуньи, а тут... попались! Или, чего доброго, меня, деревенщину, хотят одурачить? Ай, Петре! Берегись, не поддавайся обману! Смотри, старина, не осрамись, как бы не стать тебе посмешищем перед всем народом! Прокляни, господи, всех городских: мужчина ли, женщина ли, непременно угадают деревенского человека, как будто у нас на лбу написано».

— И чего ради пошел на такое дело, несчастный, в недобрый, видно, час родила тебя мать! — воскликнула одна из женщин в белой чадре. — Жил бы смирно, не попал бы в такую беду. Горе твоей матери, несчастливой матери ты сын!

«Ври, ври побольше, — размышлял Петре. — Так я тебе и поверил! Что поделаешь! Я же деревенщина, так ты смилуйся, не обманывай...»

— Верно, так оно и есть... А все же, что на роду написано, того не миновать, — отозвалась другая женщина. — Такая уж выпала бедняге судьба! Однако он-то умрет, и конец всему, но горе его родителям, какая мука их ждет, какое пекло! Избави, господи, всех христиан!

«Вот тебе и раз! — подумал Петре. — Сговорились они, что ли? На-



казание божье! Уж лучше убраться отсюда, — ей-богу, подведут эти ведьмы, осрамлюсь из-за них!»

Подумал, перешел на другое место и снова замешался в толпу. Однако женщин было много и здесь. Какой-то внутренний голос настойчиво побуждал его спросить: «Что же все-таки происходит?». Но другой голос предостерегал: «Стыдно, засмеют!».

— И молод же он, этот сын злосчастной матери, — сказала одна из женщин. — День для него еще и не засиял по-настоящему, и вот так рано, так скоро померкнет для него солнце...

— И как горит сейчас, словно в огне горит сердце его матери! Господи, не дай мне дожить до такого дня! — добавила другая, ударяя себя рукою в грудь.

«Чудно! — не без досады произнес про себя Петре. — Неужели у всех этих людей нет другого дела, как только надо мною потешаться? Или... Что со мною приключилось? Как же это они так быстро сговорились? Господи! Хорошо, что я не стал ни о чем спрашивать! Вот подняли бы на смех! Ай, Петре, берегись, промахнешься, окажешься в дураках! Бездельники-то — вот эти самые, городские, бездельники и есть. Будь они прокляты все до единого, только мною и занимаются!»

Твердил все это Петре в полной уверенности, что у собравшихся сюда людей только одно на уме: деревенщина, видите ли, давай его одурачим! Он решил скрыться от них и снова переменил место. Нехорошо, когда то или другое умонастроение, точно закусившая удила тугоуздая лошадь, тянет тебя вопреки рассудку все в одну сторону...

### III

Тем временем подвели юношу в шинели и поставили его под самой виселицей. Позади стал палач в красной рубахе, по одну сторону — священник, по другую — какой-то чиновник.

«А как же священник, с ума он, что ли, спятил? — говорит себе Петре. — Наверное, поп армянский! Разве настоящий священник пойдет на такое дело? А кто это в красной рубахе? Может быть, он-то и есть главный фокусник?».

Чиновник вынул бумагу и стал громко ее читать.

«Заклинание, верно, — подумал Петре. — Вот увидите, тут-то и начнется волшебство! Занятное, видать, будет представление».

Потом священник стал что-то говорить тому, в шинели. Петре даже встал на цыпочки, но расстояние было слишком велико, и как он ни напрягал слух, не мог ничего разобрать.

Сняли с человека шинель, накинули длинный балахон, закрывший его от головы до пят, так что даже лица не было видно... Палач в красной рубахе поправил петлю на виселице, приставил лесенку к столбу, обернулся к несчастному, подталкивая его, заставил подняться на лесенку, а сам взялся за петлю, чтобы накинуть на шею юноше. Народ замер, словно у всех собравшихся здесь, — а было их много, — разом перехватило дыхание и остановилось сердце.

Палач накинул петлю, выбил из-под ног юноши лесенку и толкнул его рукою. Толпа глубоко и глухо ахнула, точно человек, которого неожиданно окатили кипятком.

Повешенный стал биться и корчиться. Долго еще дергались у бедняги ноги.

— Хоть до утра дрыгай, не поверю! — сказал Петре.

Народ, который за секунду до этого молчал, затаив дыхание, вдруг оживленно загалдел. Послышались даже шутки. Толпа распалась, раздробилась, рассыпалась по полю. Люди расходились, вполне довольные



тем, что им довелось увидеть это позорное, нестерпимое для человеческого сердца зрелище.

Петре оглянулся — поблизости уже никого не было. Ушли и солдаты. У виселицы осталось только двое караульных. Человек в красной рубахе натянул на себя какую-то другую одежду и тоже ушел. Только тот несчастный так и продолжал висеть без движения.

Петре удивился.

«И это все? — проговорил он про себя. — Неважное же было представление. Может быть, вся хитрость в том, что успели подменить человека мешком? Но тогда кто дрыгал ногами? Не придумают, что ли, проволоку приладить! На проволоке хоть лезгинку сплясать заставят! И все-таки представление неважное. Даром время потерял. Ошибся я, лучше бы на заезжем дворе поваляться, выспался бы как следует! Скажем, я попался, но почему еще столько народу дало себя одурачить? Погоди, может быть, его и в самом деле повесили? Хоть бы я спросил у кого! Эх, засмеяли бы. Впрочем, кто знает... Но люди идут веселые, как ни в чем не бывало, смеются, болтают! Если вправду кого-то повесили — не камни же они, пропади они пропадом, — хоть бы одну росинку, одну слезу уронили! Кто бы он ни был — человек ведь, творение божье, не кошка. И все-таки, к чему тут собралось столько женщин!»

В сердце Петре запало великое сомнение. Теперь им владела одна только мысль, одна забота: узнать наверняка, ошибался ли он, когда думал, что все это — представление, обман, или когда готов был допустить, что на его глазах по-настоящему повесили человека.

Пожалуй, первое казалось ему более обидным: «Как, меня, старого человека, могли до того одурачить представлением, что я обман принял за правду?»

Но если бы в конце концов оказалось, что он правду принял за обман, что ж — с этим наш Петре примирился бы как-то легче. Так или иначе, ему очень хотелось знать истину.

Его тянуло догнать кого-нибудь и спросить. Много раз он даже подходил, но останавливался в нерешительности.

«Нет, дяденька, засмеют тебя городские, лучше своим умом дойти».

Погруженный в свои размышления, поплелся наш Петре шаткой походкою на Авлабар, к заезжему двору. По пути он увидел духан. Из духана доносились нестройные, шумные голоса.

«Дай-ка зайду, послушаю, что говорят о сегодняшнем происшествии, — подумал он. — Да и закусить бы не худо, с утра ничего не ел».

Войдя, спросил вина, немного соленого балыка и уселся в уголку. Не успел он расположиться, как в духан вошел какой-то молодой человек в бурке. Казалось, он следовал за Петре по пятам. Новый посетитель потребовал перо, чернил, бумагу и стал что-то писать, облокотясь на стойку. Петре еще раз взглянул на пришельца.

«Не пойму, где я видел этого парня», — подумал он.

Юноша писал, не подымая головы. Так продолжалось довольно долго. Петре забыл о том, что уже поздно, и, не сводя глаз с юноши, жевал так медленно, что, пожалуй, и до вечера не справился бы со своей закуской. И все не мог отделаться от мысли:

«Что же это такое? Я его знаю, но почему-то не могу вспомнить».

Солнце уже склонилось к закату, а Петре все не трогался с места, раздумывая о том, кто же он, этот юноша.

Петре уже ничего не оставалось делать в духане, и он, так и не удовлетворив своей жажды узнать, кто же все-таки этот незнакомец, подошел к хозяину, расплатился, еще раз окинул юношу взглядом и поспешно зашагал к Авлабару. До заезжего двора было еще довольно далеко, когда



кто-то неожиданно хлопнул его сзади по плечу. Петре обернулся. Перед ним стоял все тот же высокий молодой человек в бурке и в надвинутой до самых глаз папахе.

— На, возьми письмо, — сказал юноша и сунул ему в руки конверт. — Если не умеешь сам, попроси кого-нибудь прочесть и слушай хорошенько. Из письма узнаешь обо всем, что сегодня произошло.

Сказав это, юноша тотчас же повернул обратно. Он удалялся так быстро, — хотя, казалось, шел не ускоряя шага, — что наш Петре не догнал бы его даже бегом. Изумленный старик только и успел крикнуть:

— Кто ты такой, малый? Хоть имя скажи.

— Письмо, письмо скажет! — ответил юноша в бурке и удалился, даже не оглянувшись.

Теперь только вспомнил Петре, что давеча, куда бы он ни пошел, какой-то человек в бурке все норовил стать поближе к нему.

— А я ведь сразу догадался, что это неспроста! — пробормотал Петре. — Он кружил около меня, словно курица вокруг выводка. Он тоже был в бурке, и шапка у него также была надвинута совсем на глаза. Это тот самый парень, хочешь, побьюсь об заклад.

Трудно сказать, с кем он собрался биться об заклад, во всяком случае он ощупал письмо, опустил его в карман и произнес с сожалением:

— Эх, хоть бы умел я читать! Узнал бы из письма про все, что сегодня случилось. Может быть, он тоже обманывает? Себя и обманет, мне-то что! Ушел, значит, и посмеяться надо мною не удастся.

#### IV

Петре еще поспешнее зашагал к заезжему двору. Не терпелось поскорее узнать, что же в этом письме. Сын Петре был человек грамотный, учился у священника. Петре шел быстро, но сердце его, казалось, бежало еще быстрее.

— Идешь, идешь и нет конца! Длиннее, что ли, стала проклятая дорога...

В конце концов он все-таки дошел. Пот струйками катился по его телу, он едва дышал от усталости. Огляделся, нигде никого. А робщики разошлись: каждому нужно было что-нибудь купить для дома. Петре обрадовался, что на дворе нет никого, — сын-то во всяком случае здесь, в городе у него не было никаких дел. И действительно, он спал тут же, в холодке под навесом. Петре разбудил его.

— Встань, прочти мне это! — сказал старик, подавая конверт. Сын протер глаза, потянулся и взял письмо.

— Ты где его нашел, отец? — спросил он.

— Да не находил я вовсе! Иду я, и сунули мне в руку, — сказал Петре, полагая, что дальнейшие объяснения излишни.

Сын вскрыл письмо, стал его разворачивать, и вдруг посыпались ассигнации. Изумились отец и сын: что за диво? Сын хотел пересчитать деньги, но отец рассердился и, потеряв всякое терпение, крикнул с упреком:

— Нашел время считать! Прочти, говорю, что написано! Нет больше моего терпения! Того и гляди, сердце из груди выскочит!

Сын приступил к чтению.

«Тот юноша, которого сегодня повесили, был мой брат...»

— Что? — побледнев от ужаса, прервал чтение потрясенный Петре. — Повесили?.. Значит, правда? Так чего же народ гоготал? Читай, читай! Хоть бы мне этого не видеть!

— Ты о чем, отец? — спросил с удивлением сын. — Ты чего испугался? Разговариваешь, как безумный!



— Читай, читай! Знаю, что говорю! — взволнованно и сердито ответил Петре. Бедный старик дрожал, словно в лихорадке.

Сын покачал головою. «Что со стариком приключилось?» — подумал он и снова принялся читать.

«Отец наш был бедный дворянин. Вскоре после его смерти — мы с братом были еще малолетками — мать вышла замуж. Отчим, тоже дворянин, служил в городе. Он отобрал все, что досталось нам от отца: состояние было маленькое, но кусок хлеба был обеспечен. Отчим часть продал, часть обменял и оставил нас с пустыми руками. Бросили нас, маленьких, в деревне, без призора, а сами жили в городе. Когда приезжали — били нас, несчастных, просто шкуру сдирали. Голые, босые, голодные, шатались мы по деревне. Били нас домашние, бил дворовый, прислуживавший в доме, бил отчим. Колотили все, кому не лень. Бывало, чужие люди жалели несчастных сирот, но избавления ждать было неоткуда. Когда подросли, отчим, чтобы избавиться, отдал нас в солдатскую школу в Тукурмиши, и попали мы из огня да в полымя. В школе отравили нас бранью, хамством, извели битьем да помыканием. Терпели мы, терпели — и вот не стало сил. Взяли да убежали. Забрели в родную деревню. Слуги выгнали нас из старого дома, не позволили даже переночевать. Пустились мы, сироты безродные, по широкому миру, без хлеба, без денег, без крова, без надежд, без родных. Кто бы нас пожалел? Всем были мы чужие и все оставались чужими для нас. Пошли мы в город, униженные, озлобленные против всех на свете. Ожесточились против этого мира, исполненного несправедливости, возненавидели отчима, мать, злых и добрых, тебя, всех вообще. Мы были еще детьми; люди видели, что нас грабят среди бела дня, и никто не вступился, никто не помог, никто не поднял за нас голос. В том, что с нами случилось, повинны все. Не отчим, а все вы грабили нас, все сообща загубили. Пока жив, постараюсь расплатиться со всеми, а придет конец — дадим отчет богу. Все мы там будем и встретимся лицом к лицу. Посмотрим, кто прав, кто виноват! Для бога сердце важнее, чем дела. Там справедливость нерушима.

...Помнишь, четыре года тому назад ваши арбы стояли у Лочинского ущелья? Помнишь, к вам подошли два юнца? Это были мы; мы два дня перед тем ничего не ели. Несчастный брат мой — звали его Бежаном — врал вам всякую всячину. Неприятно мне было, я считал это недостойным, но ничего не мог поделать. Несчастный брат был упрям, своеволен, и — горе! — жадное было у него сердце. Это была единственная близкая мне душа, существо одной со мной плоти и крови, единственный брат и друг, единственный человек, который подлинно желал мне добра, который отдал бы за меня жизнь, который любил меня и был мне верен. Господи, прости его! Сегодня я видел собственными глазами, как его удавили, словно кошку. Разве я могу оставить его неотомщенным, пока называюсь человеком, пока на голове у меня шапка, пока теплится во мне жизнь? Ты тогда ласково, от всего сердца позаботился о нас. Твоя доброта чуть было не озарила лучом любви мою темную душу, чуть было не подкупила меня. Всю ночь я не мог уснуть, не сомкнул глаз, хотя был очень утомлен. Когда брат поднялся и срезал у тебя карманы, у меня сжалось сердце, я возмутился, волосы встали дыбом, но я ничего не сказал брату, не стал ему мешать. «Пускай! — думал я. — Старик тоже виноват в том, что нас грабили, будь он человеком, не дал бы нас ограбить».

Обокрали мы тебя и отправились в город. В городе и греху и добру просторно. Всему здесь широкая, открытая дорога. Не проходило дня без того, чтобы мы кого-нибудь не ограбили. Так мы кормились, тешили уязвленные сердца, полные отчаяния и злобы. Но сердце все не унималось, ждало чего-то, звало куда-то. Нет, не унять его, нет!..



Два года тому назад случилось так, что судьба сама привела нас в дом отчима. Матери мы не застали, муж, оказывается, отослал ее в деревню. Ворвались ночью, убили отчима, — хотя и не было у нас этого в мыслях, — хотели разгромить дом, но не успели. Кто-то услышал, нагрянула полиция, мне удалось скрыться, несчастного брата окружили и схватили. Конец ты знаешь. Вы все стояли и смотрели. Для вас это было потехой, а я глядел и горел! Не прощу я вам этого, нет! Все вы ответите мне за эту утрату! Пока жив, буду мстить за кровь брата! Весь мир мне ненавистен, но всего ненавистнее — люди! Я навеки разрушил мост между нами... Я один на этой стороне, а вы, множество вас, стоите на другой. Все откроется в день судный — где правые, где виноватые... Господь видит правду: раньше, чем взвешивать дела на весах, он заглянет в глубину человеческого сердца. Я думаю, что мой путь — правый путь. Верно ли это или я ошибся — не знаю. Знаю одно: меня еще связывала с вами тоненькая ниточка, сегодня у подножия виселицы оборвалась и она. Теперь я навеки оторвался от мира, точно давно надломленная ветка, висевшая на одном волоконец. Прощай! Если тебе когда-нибудь захочется повстречаться со мною, — приходи, увидишь меня, как и брата, на виселице. Этот конец ждет и меня.

Не знаю, почему мне все время хотелось раскрыть тебе свое сердце, я раскрыл его — и с меня спала тяжесть.

Возвращаю тебе в десять раз больше, чем те твои три рубля и десять пятаков. Твоя доброта оставила в сердце сладкую боль и чуть не увлекла меня за собою. Она еще тлеет во мне, словно уголь, прикрытый золою. Знаю, заглохнет и она. Разве ты и мой отчим не соумышленники? Разве не ты повесил единственного моего брата? Разве не ты довел его до виселицы?»

Сын ничего не понял, отца прошиб холодный пот.

— Я-то тут причем? — крикнул Петре и застонал, дрожа от страха. И правда, причем тут наш старый Петре?

1879 г.



Читателям нашей страны хорошо известны художественные произведения Ильи Чавчавадзе. Однако богатейшая публицистика писателя до сего времени почти не переводилась на русский язык.

В нашем журнале публикуются три статьи Ильи Чавчавадзе, перевод которых осуществлен Г. Чикваидзе.

## Девятнадцатый век

Вот и первый день двадцатого века. Новому веку пока что нечего сказать, разве только: вступил ногою к вам, да будет благоволение божье с вами. Прошлый век, который сегодня уступил свой путь и трон новому веку, принес миру немало доброго. Совершенные в этом веке чудеса науки и обретенная людьми просвещенных стран слава и величие далеко превосходят все то, что было видано за все предшествующие восемнадцать веков. Конечно, если бы в прошедшие века люди оставались в бездействии, девятнадцатый век не стал бы столь продуктивным, ибо, как ни говори, прошлые века были сеятелями, а гордостью и славой девятнадцатого века является собранный им обильный урожай, настолько обильный, что наши предки не могли его и ожидать.

Английский философ Бэкон сказал, что прогресс человечества есть не что иное, как каждодневное преодоление границ невозможного. Если взглянуть на девятнадцатый век с этой точки зрения, он действительно вызывает изумление. Невозможное и непостижимое для наших предков сегодня стало возможным благодаря девятнадцатому веку. Расстояние, разделявшее до сих пор отдельные страны, теперь почти ликвидировано железными дорогами, телеграфом и телефоном. Медицина достигла того, что в живом человеческом организме почти ничего не осталось неизвестного и неизлечимого. Внутренние органы человека теперь прощупывают и просматривают, словно выставленный напоказ предмет. Найдены лекарства против многих истреблявших человечество болезней, и, кажется, немного осталось для того, чтобы открыть даже тот эликсир жизни, который с таким усердием искал и ищет всемогущий человеческий разум. Наука уже нашла пути к средствам для омоложения и, кто знает, быть может вскоре мы будем свидетелями того, что и на этом пути наука проявит свои способности к чудесам. Человек стал лучше по своему мышлению, думам, разуму, морали и материальному богатству. Богатство разума, морали и материальных благ достигло такой степени, какая даже не снилась предшествующим векам. Общее благосостояние человечества повысилось, а раздоры, нашествия и вражеские нападения обузданы боязнью всеобщей



го порицания. Теперешняя война между Англией и Трансваалем, не говоря о прочем, с полной ясностью показала, что человечество осуждает нападение сильного на более слабого и справедливо гневается на такого рода несправедливые действия.

Трудно перечислить все блага, которые девятнадцатый век принес человечеству. Одним из огромных и замечательных дел девятнадцатого века является то, что широко развернуло крылья и стало на прочную основу человеколюбивое учение о том, что всякий человек, независимо от общественной ступени, на которой он стоит, имеет равное со всеми другими человеческое достоинство и наравне с другими заслуживает внимания и сочувствия. Правда, истоки этого учения берут начало в далеком прошлом, но наш век усилил и возвеличил это учение, и, подведя под него научную основу, превратил его в спасительное для слабых и бедных учение. Идеалом социального строя девятнадцатый век признал «упразднение собственности и равномерное распределение доходов между людьми, уничтожение всякого классового господства и по возможности всякого классового различия, помощь трудящимся классам для их расцвета». На этом пути один лишь девятнадцатый век, к его чести, сделал больше, нежели все предшествовавшие века вместе взятые.

Одним словом, повсюду, куда только достигнет ваш слух или взор, увидите успехи и движение вперед. Правда, повторяя Шекспира, мы должны сказать: в мире еще много такого, что даже и не снилось современным ученым; однако даже достигнутое ярко свидетельствует о могуществе острого человеческого разума — и в этом великая заслуга того столетия, которое вчера благословило путь новому столетию, завещая ему показать свою мощь.

Еще раз скажем: прошедший век со своей стороны многое дал человечеству. Однако возникает вопрос: счастливее ли стал сегодня человек среди такого довольства, окрепший и усилившийся благодаря успехам науки? Не думаю. Правда, в настоящее время человек — бедный или богатый — лучше устроен, легче может передвигаться, откликаться на события и поддерживать связи с миром; сегодня человек лучше одевается и питается, чем это было в прошлом, но счастье все еще далеко от него. В наше время между бедными и богатыми, слабыми и сильными легла более глубокая грань, нежели когда-либо раньше, и в этом заключается острота той болезни, исцеление которой девятнадцатый век завещал наступающему столетию. Наука, поступательное движение человеческого разума, улучшение нравов еще и в дальнейшем смогут успешно решать многие вопросы, но они не смогут поставить перед человечеством и решить более величественной задачи, нежели это завещание девятнадцатого века.

31 дек. 1899 г.

## По поводу „Сакартвелос Моамбе“\*

...Сама жизнь рождает правила для себя и определяет свою веру и закон; задача состоит в том, чтобы понять эти законы жизни, вынести их на публичное суждение и по возможности открыть им беспрепятственный путь действия. Поэтому главнейшим предметом нашего «Вестника» явится современная жизнь во всей ее полноте. Насколько сможет наш журнал

\* Печатается заключительная часть статьи «По поводу «Сакартвелос Моамбе» («Вестника Грузии»).



выполнить эту задачу, покажут будущее и наши усилия: все проверяется делами. Заранее мы ничего не скажем, кроме того, что хотим войти в круг текущей жизни, отзываться на ее глухой неясный зов, распознавать ее условия и обстановку, открыть ей путь движения. Мы не хотим сказать этим, что журнал, как зачарованный, должен стоять обязательно в кругу сегодняшней жизни, — нет, взор всякого разумного журнала обращен и в будущее. «Настоящее, рожденное прошлым, является родителем будущего», — говорит один философ. Вот какое значение будет иметь современная жизнь для нашего журнала. Обстановка и условия сегодняшней жизни являются не текущим урожаем, который расходуется сегодня же, а в нем содержатся семена будущего, как и в прошлом они имелись для настоящего. Если наш журнал внимательно следит за действиями современной жизни, то это делается больше во имя тех семян, которые надо отобрать для будущего. Чем дальше проникает взор журнала, тем, по нашему мнению, он лучше и долговечнее.

Таким образом, если журнал желает добросовестно выполнить свою тяжелую задачу, он должен тщательно следить за текущей жизнью, чтобы его очи и разум не упустили ни одного возникшего факта, должен рассчитывать путь каждому благому движению идей, замечать все вокруг себя и давать ответы на все запросы жизни; одним словом, журнал должен содействовать каждому шагу, который делается для улучшения жизни. В сложных вопросах журнал должен руководиться светом науки и пользоваться пером искусства. Мы уже отметили выше, что эти две могучие действенные силы замечают и осознают все явления жизни; именно осознанное как раз изменяет и творит жизнь. На науку и искусство мы смотрим как на улучшающие жизнь силы. Пусть некоторые книжники именем науки изощряют глаза и разум в исследовании того, насколько правильно понят такой-то иероглиф на такой-то египетской пирамиде, пусть они упражняют свой разум в поисках каких-то отвлеченных истин, или пусть некоторые бесплодные поэты именем искусства отворачивают лицо от жизни своего народа и таращат глаза на седьмое небо, заливаясь бесконечными соловьиными трелями. У нас нет единого пути с ними. Они идут влево проторенными дорожками, а мы повернем вправо. Мы требуем от науки и искусства хлеба насущного, испеченного в огне жизни и годного для пропитания народа. В объяснении и понимании жизни наука должна помочь нам познанными ею истинами; она должна дать прямой ответ на каждый животрепещущий вопрос. Для нашего журнала будет ценно все, что прямо можно применить к условиям и обстоятельствам жизни и перенести в сферу ее потребностей. Мы не будем связываться и интересоваться всякими отвлеченными знаниями, ибо они для нас совершенно лишены цены и бесполезны. Пусть всем этим наслаждается тот, кто находит удовольствие в пустых полетах и упражнениях праздного ума. От искусства мы также требуем зеркального отражения жизни, чтобы самим ясно увидеть нарисованное его чудесным пером все наше дурное и хорошее. Искусству уже пора отказаться от «полета в облаках» и от «шатаний по усеянным звездами небесам», пора отказаться от молений луне, чтобы она шепнула возлюбленной, — дескать, за девятью горами существует бедный поэт, глаза которого обожжены слезами от «дыма стенаний» по тебе; пора отказаться от безвкусного кривлянья и усиленного протирания глаз, — авось покажется слеза; пора опуститься искусству на самое дно жизни и там обрести идеи для своих живых картин. Там, у корня жизни оно найдет множество драгоценных жемчужин и еще больше грязи и тины; искусство должно безбоязненно нарисовать и то и другое, а журнал не должен бояться высказать свое мнение и о том, и о другом. Не следует обижаться грузину, если наш «Вестник» с помощью искусства беспощадно вытащит на яркий свет в числе прочего и грязь нашей жизни. Пусть никто не обвинит нас в нелюбви к грузину, когда наш журнал ясно и публично выскажет все дурное и отвратительное, что имеется в Грузии. Если в Грузии хоть маленькая кучка людей истинно любит грузина, то и мы не последние



среди них. Однако мы должны сказать, что любим в грузине лишь его хорошие стороны, а дурное везде отвратительно, будь то у грузина или англичанина; все равно, и того и другого следует выбросить в воду. Среди нас немало таких, которые стараются прикрыть темные стороны нашей жизни; это происходит с ними вследствие неумной и невежественной любви к грузинам, не ведая того, что у нас давно существует крестьянская поговорка: друга брани в очи, недруга — за глаза. Между тем эти невежественные друзья ставят печать проклятия и отвержения на того, кто не может вытерпеть пребывания в отвратительном болоте жизни и подымает голову, чтобы хоть другого остеречь от погрязания в болоте, где он неминуемо погибнет от ядовитых испарений. К счастью, у нас есть и такие лица, которые лучше нашего знают, что справедливо отмечающий чужие недостатки, вполне возможно, как раз желает для него исправления и добра. Чем яснее и беспощаднее высказаны зло и недостатки жизни, в некоторых случаях тем виднее становится горячее сердце обличителя и его страстное желание выправить положение. Совершенно ясно, что чем сильнее ненавидят зло, тем сильнее любят добро. Недаром говорится в этом стихотворении:

Пусть говорят: «Он о грузинах твердит худое,  
Он не таит пороков наших, в нем дышит злоба».  
То шум невежд! И только сердце поймет родное,  
Что в злых словах любовь таится, любовь до гроба.

Лишь бы искусство не отошло от своих законов и наука от истины, и тогда пусть они не постесняются разоблачать и осуждать все то, что у нас плохо и достойно осуждения. Пусть оба ищут и находят жемчужины в течении жизни, и если при этом они вытащат наверх грязь и тину, — что ж делать? Грязь отряхнем и тину смоем, чтобы к славе нашей жизни остались лишь жемчужины.

Пусть читатель извинит нас, что в этой статье мы лишь вскользь упомянули искусство и науку — эти два величайших предмета жизни. Наша цель заключалась не в том, чтобы полностью показать их сущность, о чем наш «Вестник» в дальнейшем неоднократно будет иметь повод для разговора, а лишь их значение, то есть мы хотели сказать, что они, по нашему мнению, являются лишь средствами, которые помогут нам выйти на свет из мрака жизни. Жизнь, науку и искусство, заложенные в каждом журнале, мы упомянули постольку, поскольку они были необходимы для показа читателю того пути, по которому пойдет наш «Вестник». Еще раз извиняемся, если эта статья покажется читателю полной метафор. Мы лишь попытались довести до читателя нашу мысль и поэтому использовали все возможности для достижения поставленной цели. Если эта статья смогла осилить задачу, мы будем довольны.

Не будет лишним коротко повторить сказанное в данной статье. Мы хотели показать читателю, что жизнь есть самодовлеющее явление, которое нельзя кроить по выдуманному человеком меркам, что хотя она стареет, но опытом этой старости снова возрождается сама по себе; мы хотели показать, что наука и искусство не придуманы упражнениями или для упражнений человеческого ума и его выражения, что они рождаются из жизни и существуют для нее же, и что они движутся вперед в соответствии с условиями жизни и в свою очередь сами двигают ее вперед; наконец, мы хотели показать, что все, осознанное и подтвержденное ими, переходит в народ и изменяет его положение и жизнь. Наш «Вестник» и призван к тому, чтобы облегчить переход этих испытанных мыслей, идей и знаний. Насколько сознательно и широко возьмется за свое трудное дело наш «Вестник», насколько он сможет нащупать и определить биение пульса жизни, не упуская малейшего изменения этого биения, и насколько ясно разберется в собранных жизнью материалах, осветив для всех каждую составляющую частицу лучами науки и образами искусства, — настолько же он заслужит



почет в обществе и станет плодотворным для жизни. Путь нашему «Вестнику» указан и избран. Посмотрим, как он пройдет его! Пусть провидение даст ему путь мирный и добрый, даст обилие сотрудников, чтобы во имя любви к нашей родине и народу они по-братски поддержали друг друга и не забыли, что народ — высокий или низкий — наш брат, которому все должны помочь по мере своих сил... И если народ действительно брат нам, — Руставели учит, как должен поступать человек по отношению к брату:

Другу верный друг поможет, не страшит его беда,  
Сердце он отдаст за сердце, а любовь — в пути звезда...

1862 год.

## Сто лет назад

11-го января 1798 года в Телави в глубокой старости скончался прославленный царь Ираклий. На грузинский престол вступил его старший сын Георгий. Грузия, потерпевшая поражение от Ага-Махмад-хана при жизни Ираклия, все еще не смогла оправиться. Наша столица Тбилиси, перенесшая жестокое опустошение и разграбление, оставалась краем разрушения и развала. Еще не зажила страшная рана, нанесенная нашей стране неумолимой и беспощадной рукой Ага-Махмад-хана. Все еще оставались неоплаканными павшие жертвой кровожадной Персии стар и млад, женщины и мужчины.

Обессиленная Грузия, лишившаяся со смертью Ираклия «железных врат», оказалась совершенно открытой и доступной для врагов, сомкнувшихся вокруг нее тесным кольцом. Как занесенные для смертельного удара обнаженные сабли, нависли над потерпевшей поражение Грузией с одной стороны Персия, а с другой Турция, славшие угрозу за угрозой. Персия гневалась на Грузию за отказ искать под ее покровительством своего благоденствия и сохранения жизни. В том же грехе упрекала Грузию и Турция, постоянно угрожавшая Картли со стороны Ахалцихе. Оба эти государства смотрели на Грузию, как на лакомый для себя кусок. Каждое из них стремилось овладеть Грузией; если не силой оружия, то хотя бы под видом покровительства ввести сюда свои войска и этим путем стать в стране твердой ногой. Усиление России, которая в то время уже продвинулась до северных границ Грузии, одинаково беспокоило и Персию и Турцию. Вступление России в Грузию означало разрушение их авторитета и принижение роли в Восточной и Малой Азии.

Как Персия, так и Турция равно хорошо знали, что захват Грузии явится крупнейшим успехом для той страны, которая успеет это сделать. Укрепившись в Грузии, она приобрела бы огромное влияние во всей Восточной и Малой Азии и могла направлять всю азиатскую политику по своему усмотрению, стеснив при этом все прочие страны. Кроме того, Персия и Турция стремились не допустить захвата Грузии каким-либо иным государством и по той причине, что она граничила с ними и лежала на путях к ним; следовательно, владеющее Грузией государство неизбежно должно было оказаться непосредственным соседом двух названных государств. Хотя боязнь перед Россией должна была понудить оба эти государства к совместным действиям, на самом деле этого не произошло. Персия мечтала безраздельно господствовать в Грузии, которая, во-первых, являлась воротами, преграждавшими движение России к Азии, и, во-вторых,



могла послужить Персии как путь для нападения на Турцию. Со своей стороны, Турция не давала Персии укрепиться в Грузии, ибо сама жаждала захватить эти врата и путь в Персию, как вечную угрозу против нее. В Азии оба эти государства соревновались в первенстве и господстве, и поэтому они держались настороженно и вдали друг от друга.

Вражда с двух сторон не была новостью для Грузии. Уже давно то Персия, то Турция с этой целью угрожали нашей стране, однако Грузия, так или иначе, отбивалась и не покорялась им. В старину Грузия много раз подвергалась опустошению и разрушению, у нее оттягали окраинные земли, но все же сердцевина уцелела. Грузия боролась, шла тяжелым крестным путем, но не сдавалась. Наша маленькая страна с ее горсточкой народа дошла этим скорбным путем до конца восемнадцатого столетия, сохранив веру, язык, национальную сущность и свою землю. Когда усилившаяся Россия ступила на горы Северного Кавказа и истрадавшаяся Грузия всем сердцем повернулась в ее сторону, враги Грузии, в особенности Персия, расшвыряли еще сильнее. Нашествие Ага-Махмад-хана в 1795 году было вызвано переговорами Грузии с Россией; эта же причина вновь ополчила против нас Турцию, и каждое из этих государств в отдельности преисполнилось крайним озлоблением против Грузии.

Добросердечный, но слабый царь Георгий в этих сложных условиях не мог руководить бедствующим государством, которое еще не оправилось от нашествия Ага-Махмад-хана и не залечило нанесенных ему ран. Добавилось то обстоятельство, что даже лезгины подняли голову при этом слабом царе и, поощряемые Ахалцихским пашой, разоряли страну то здесь, то там. Кроме того, в самой царской семье все шло вкривь и вкось. Вдовствующая царица и царские братья каждый тянул к себе и никто из них не хотел подчиниться царю. Судьбу царства они обратили в игральнице своих личных интересов, и бедный царь Георгий не знал, что делать: бороться с внешними врагами или сдерживать вражду и ненависть между мачехой и своими братьями. Ко всему этому прибавилась чума, которая потрясла и повергла в отчаяние всю страну. Каждая из этих бед в отдельности была достаточной, чтобы поставить царя и государство на краю гибели, но, собранные воедино, они обратились в огромное и неодолимое несчастье.

Возможно, царю Георгию как-нибудь и удалось бы совладеть с домашними неурядицами, если бы не постоянная угроза со стороны внешних врагов. К этому времени Ага-Махмад-хана уже не было в живых, и персидский престол занимал Баба-хан, который напал на Шушинского и Ганджинского ханов с намерением завладеть этими ханствами, чтобы затем двинуться на Грузию. В это же время со стороны Ахалцихе над Грузией нависла и турецкая угроза.

Для спасения Грузии от стольких несчастий у царя Георгия не оставалось иного пути, как сблизиться с Турцией или Персией, или Россией. Дело не терпело отлагательства. Само собой ясно, что боголюбивый и богобоязненный царь Георгий из этих трех государств избрал единоверную Россию. К этому вели и заветы его предков, ибо еще с 1576 года грузинские цари не один раз договаривались с Россией и ждали от нее содействия и помощи. Царь распятого за христову веру народа обратился за помощью и покровительством к христианскому же народу.

Царь Георгий не стал медлить и послал в Петербург доверенного представителя — князя Гарсевана Чавчавадзе, который известил императора Павла о восшествии на грузинский престол Георгия. Вдогонку уехавшему послу царь Георгий послал обращение к императору Павлу. Гарсеван Чавчавадзе лично предстал перед Павлом и доложил ему: «Великий император, покровитель и благодетель царства Картли и Кахети! Поднося прошение, я, верноподданный вашего императорского величества, велением царя моего Георгия Ираклиевича и всего его царства удостоен пасть перед ногами вашего императорского величества и согласно моим обязанностям осмеливаюсь просить осчастливить государя моего и утвердить на царство в Грузии, как законного наследника, облечь его знаками царского



достоинства и продолжить благоволение к нему и народу его. Примите подносимое мною прошение и удостойте его высочайшего вашего внимания».



Затем царь Георгий обязал Гарсевана Чавчавадзе представить императору Павлу второе прошение — о том, чтобы наследником грузинского престола был утвержден царевич Давид и за его династией было обеспечено вечное и нерушимое царствование в Грузии, а помимо него никому не вмешиваться во внутренние его распоряжения и не иметь дел с его дворянством и другими подданными. Вместе с этим царь Георгий, извещая императора Павла, что его предки всегда были верны России и он со своей стороны дает обет превзойти их в этом отношении, просил монаршего соизволения вести переписку непосредственно с Петербургом через посредство своего министра князя Гарсевана Чавчавадзе, ибо иными путями решение дел весьма замедляется. Царь Георгий просил у императора Павла три тысячи русских солдат с соответствующим вооружением и снаряжением. По этому вопросу царь Георгий писал императору Павлу: «Когда ваши победоносные войска бывали в Грузии, злоумышленные люди всегда старались разными выдумками посеять рознь между начальниками ваших и наших войск, поэтому прошу указать командиру посылаемых сюда войск иметь дела лишь со мной или уполномоченными мною лицами». В заключение царь докладывал императору Павлу, что еще в юности он стремился лично повидать российского самодержца, но тому помешали многие обстоятельства. «Сегодня же, — писал царь Георгий, — я признаю вас моим государем и питаю надежду, что протянутые к вам руки мои не будут отринуты».

Пока Гарсеван Чавчавадзе смог выполнить возложенную на него миссию и в этой переписке утекло время, дела Георгия осложнялись изо дня в день. Грабительские набеги лезгин продолжались беспрепятственно, а ахалцихский паша не давал покоя Картли и опустошал этот край. Правда, император Павел повелел своему послу в Стамбуле просить султана о прекращении разорения Грузии, однако ахалцихский паша продолжал своевольничать и оказывал всяческое содействие лезгинам в их грабительских набегах на Грузию. Все эти обстоятельства ставили царя Георгия в безвыходное положение, тем более, что никакого определенного решения со стороны России все еще не было видно. Оставался лишь один путь — потребовать от Гарсевана Чавчавадзе ускорения дела и присылки русских войск, причем с тем условием, чтобы царю было разрешено использовать их там, где в этом возникнет необходимость.

Император Павел, выслушав доклад о бедственном положении царя Георгия и Грузии, о новых угрозах со стороны Персии и разорении страны турками и лезгинами, решил дать безотлагательный ответ царю Георгию. 23 февраля 1799 года он повелел главнокомандующему северокавказскими войсками подготовить к походу в Грузию семнадцатый егерский полк генерал-майора Лазарева со своей артиллерией, усиленный казачьей сотней. Этот полк в те времена стоял в Моздоке.

Необходимо знать, что еще по договору 1783 года с царем Ираклием Россия должна была иметь при грузинском дворе особоуполномоченного министра. Вследствие разных причин до 1799 года это условие оставалось невыполненным, и император Павел по просьбе князя Гарсевана Чавчавадзе возобновил его, назначив полномочным министром статского советника Коваленского, которому было повелено добиться любви и доверия грузинского народа.

В мае 1799 года Коваленский выехал из Петербурга и в конце июня прибыл в казачье село Наури, где пребывал тогдашний главнокомандующий северокавказскими войсками Кнорринг; отсюда Коваленский известил царя Георгия, что направляется в Грузию с обещанными войсками. Со своей стороны Кнорринг приказал генерал-майору Лазареву привести в готовность свой полк с артиллерией для похода в Грузию и заготовить де-



сятидневный запас продовольствия, чтобы немедленно выступить в поход при первой же необходимости.

Вместе с Коваленским император Павел отправил верительную грамоту на имя царя Георгия. Эта грамота написана 18 апреля 1799 года. Император Павел писал: «Приняв с благоволением ваше письмо, в силу третьего пункта трактата, настоящим утверждаю вас царем Грузии и наследником после вас сына вашего Давида». Вместе с этим император Павел послал с Коваленским знаки царского достоинства и государственные регалии: 1) золотую царскую корону, украшенную драгоценными камнями; 2) скипетр, также украшенный драгоценными камнями; 3) саблю, инкрустированную золотом и украшенную драгоценными камнями; 4) царскую порфиру из каракумского меха, с подкладкой из вишневого бархата, вышитую российскими и грузинскими государственными гербами; 5) белое знамя с двуглавым орлом и российским гербом посередине; 6) трон с тремя вышитыми подушками, крытый вишневым бархатом, с позументами и большими кистями из листового золота; в середине трона был помещен герб Грузии, а по его обеим сторонам — российские гербы; 7) вместе с тронном два небольших стола, крытых бархатом и украшенных золотыми позументами; для каждого из этих столов по одной подушке, на которых должны были лежать государственные регалии: на одной — корона и скипетр, а на второй — сабля и высочайшая грамота; 8) три украшенных алмазами ордена, один — святого апостола Андрея Первозванного — для царя Георгия, другой — великомученицы Екатерины — для царицы Мариам, и третий — святой Анны первой степени — для наследного царевича Давида. Кроме того, император Павел прислал с Коваленским драгоценные подарки царице Мариам, царевичу, настоятелю придворной церкви, царскому зятю Мухран-Батони и царскому тестю князю Цицишвили.

Согласно приказанию Лазарева, семнадцатый егерский полк приготовился к походу в Грузию, причем, вместе с полком должен был отправиться и Коваленский с подарками императора Павла. Наконец, 19 октября 1799 года Кнорринг вновь посетил названный полк, остался доволен его состоянием и дал приказ выступить на второй день и, перейдя Терек, двинуться в указанном направлении. В назначенное время полк, согласно приказу, двинулся с места, перешел через Терек и направился к Тбилиси. Кнорринг дал наставление Лазареву о дальнейших действиях и поставил его в известность о высочайшем повелении: «Полку Лазарева немедленно по прибытии в Тбилиси оказать царю Георгию такие же почести, кои положены мне, императору, и тем же порядком выставить охрану дворца. В день освящения царской короны полку выйти на парад, построившись

## На языках народов СССР

Первые переводы произведений Ильи Чавчавадзе на русский язык относятся еще к началу 60-х гг. прошлого века.

Значительная роль в их публикации принадлежит Н. Я. Николадзе, который напечатал в журнале «Изящная литература» (№ 6, 1883 г.) свой перевод «Сцен из времен освобождения крестьян».

В 1884 году газета «Новое обозрение» познакомила русского читателя с отрывком из поэмы Ильи Чавчавадзе «Отшельник».

В журнале «Кавказская жизнь» печатались отрывки из поэмы «Видение» и стихи.

Но все это были лишь отдельные попытки познакомить русского читателя с творчеством Ильи Чавчавадзе. Только после установления Советской власти перевод и публикация на русском языке произведений выдающегося грузинского писателя приобрели широкий размах.

Теперь читатели получили уже полные тексты почти всех художественных произведений Ильи Чавчавадзе, перевод которых был осуществлен крупнейшими мастерами русской литературы.

Опубликовано много переводов также на украинском, армянском, литовском, эстонском и других языках народов СССР (повесть «Человек ли он?» издана на эстонском языке тиражом в 10 тысяч, а на литовском — 60 тысяч экземпляров). Лишь за последние годы общий тираж переводов произведений И. Чавчавадзе на языки народов нашей страны превысил несколько сот тысяч экземпляров.

В. ГОГОЛАДЗЕ,  
директор Государственной  
книжной палаты  
Грузинской ССР.



по батальонам. При входе и выходе царя Георгия из церкви, войскам надлежит оказать ему соответствующие почести».

Вступив в Кавказские горы, русские войска испытали много невзгод. Узкие тропы с крутыми подъемами и спусками, снега, льды, плохие дороги, временами нехватка продовольствия, — все это препятствовало движению войска. Орудия и прочее артиллерийское снаряжение солдатам местами приходилось тащить на руках и спинах, ибо иной возможности не оставалось. Наконец, войска преодолели все препятствия, перешли через горы, и перед ними открылись низины Арагвской долины. Тут войска были встречены царевичем Вахтангом, который, доставив хлеб и другое продовольствие, а также гужевой транспорт — восемьдесят пар буйволов и быков, подготовил на всем пути до Тбилиси в разных местах по пятьдесят вьючных лошадей для воинских перевозок. В таких условиях войска шли месяц и шесть дней, пока достигли Тбилиси, который с великим ликованием украсился и приготовился к встрече и приему русского войска. В Тбилиси войска ждали 26 ноября. Весь город двинулся в Гаретубани и на Веру, чтобы встретить идущие войска. Царь Георгий также выехал со своим двором. Его сопровождали наследный царевич Давид, все другие царевичи, видные светские и духовные деятели и вся тбилисская знать. Крыши тбилиских домов были усеяны взрослыми и детьми, мужчинами и женщинами, нетерпеливо ожидавшими войска, как спасителей страны и охранителей спокойствия.

Наконец, подошли войска, которые сам царь Георгий ввел в Тбилиси. Народное ликование, гром орудий и перезвон колоколов слились в одно и представляли грандиозную картину. Коваленский в следующих выражениях известил Кнорринга о вступлении в Тбилиси русских войск: «Войска, наконец, вступили в Тбилиси, представляя прекрасное зрелище своей выправкой и дисциплиной. В трех верстах от города они были встречены в соответствии с тем порядком, который заранее был разработан его величеством царем Георгием и мной. Царь вместе со всеми своими знатными светскими и духовными лицами встретил войско. Крыши домов были сплошь заполнены женщинами в белых чадрах, так что могло показаться, словно весь город был усеян палатками. Гром орудий и колокольный звон усиливал впечатление этого праздника, а народное ликование, движение и даже слезы, особенно у женщин, венчали эту волнующую картину и преданность всего народа нам».

Царь Георгий, обрадованный исполнением заветного желания, принял все меры для удобного расквартирования войск и снабжения их лучшим продовольствием в достаточном количестве. На второй же день он послал войскам сверх установленного рациона триста ведер вина и восемьсот штук сушеной рыбы. Офицерам прибывшего войска царь предложил для проживания свой дворец, но офицеры, не желая стеснить его, отказались, выразив царю глубокую благодарность за это сердечное предложение.

Так вошли в Тбилиси русские войска, радостно встреченные царем и всем народом. Сердца отчаявшегося царя и народа зажглись надеждой и обрели покой. Начиная с царского двора и кончая последней хижинкой, радость спасения и надежды везде широко раскрыла свои крылья. Уже давно Грузия не видела такого славного дня. Сердца всех, от мала до велика, у женщин и мужчин, наполнились заветной надеждой, что приход русских войск в Грузию даст ей тот покой, защиту и покровительство, ту счастливую и тихую внутреннюю жизнь, за которую сыны Грузии на протяжении веков боролись героически и самоотверженно, щедро орошая своей кровью каждый уголок родной страны. С этого памятного дня Грузия обрела покой. Покровительство единоверного великого народа рассеяло вечный страх перед неумолимыми врагами. Утихомирившись давно уже не видевшая покоя усталая страна, отдохнула от разорения и опустошения, от вечных войн и борьбы. Исчез грозный блеск занесенного над страной и нашими семьями вражеского меча, исчезли полыхающие пожары, в которых гибли дома и имущество наших предков, канули в вечность грабитель-



ские набеги, оставившие лишь страшное и потрясающее воспоминание. Наступило новое время, время покоя и безопасной жизни для обескровленной и распятой на кресте Грузии, которую господь создал здешним раем для человека, но которая едва не обратилась в братскую могилу для ее самоотверженных сынов, погибавших без помощи и надежды в одиночестве и вдали от всех, во имя величия христианства и сохранения своего национального лица. Была заложена грань мирной жизни. С того дня никто не осмелился переступить эту грань с огнем и мечом, и 26 ноября 1799 года вновь воспрянувшие к жизни царь и народ искренне доверились будущему, воодушевленные надеждой на покровительство великой России.

Сегодня, 26 ноября 1899 года, исполняется ровно столетие с того дня.

1899 г.



## ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Духовная культура русского народа, его литература и искусство сыграли огромную и поистине неопределимую роль в развитии культуры грузинского народа.

Свое глубокое уважение к русской прогрессивной литературе и отрицательное отношение ко всему старому, отжившему и реакционному, мешавшему развитию новой передовой мысли и художественного слова, Илья Чавчавадзе с полной ясностью выразил уже в первых своих критико-полемических статьях.

Илья Чавчавадзе являлся идеологом передового, высокоинтеллектуального реалистического искусства; уже в первых своих статьях он стоит на позициях критического реализма и требует от писателей правдивого отражения действительности и борьбы с существующим в жизни злом. Неоднократно подчеркивая значение творческого наследия таких русских писателей, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Тургенев, И. Чавчавадзе в одной из своих статей 1861 года называет Пушкина и Лермонтова «первейшими звездами» русской литературы. Пушкин, по его словам, являлся поэтом, который «впервые показал России изящество и сладость русского стиха и словесности».

Статья «Илья Чавчавадзе и русская литература» является частью большой работы недавно скончавшегося критика и литературоведа Левана Асатиани «Илья Чавчавадзе и русская культура». Эта работа, состоящая из ряда глав («И. Чавчавадзе и русская наука», «И. Чавчавадзе и великие русские революционеры-демократы» и т. д.), будет включена в сборник статей писателя, который в нынешнем году выйдет в свет в издательстве «Заря Востока».

Еще в студенческие годы берется И. Чавчавадзе за перевод пушкинских произведений. Им переведены «Истина», «Ангел» и «Пророк». Выбор пушкинских стихов весьма примечателен. Почему он остановился на «Пророке»? Может быть, потому, что еще в период творческого возмужания И. Чавчавадзе и в пушкинских стихах искал идеи и содержание, отвечающие его собственным чувствам и устремлениям.

Напомним, что в Павловске Илья Чавчавадзе пишет стихотворение «Поэт», представляющее собой программный документ грузинской литературы шестидесятых годов. Необходимо отметить близость основной мысли этого произведения к строкам пушкинского «Пророка»:

«И обходя моря и земли,  
Глаголом жгги сердца людей».

Совершенно ясно, что тут мы имеем дело не со слепым подражанием, а с оригинальным выявлением идей великого русского поэта в творчестве поэта последующего поколения.

Несомненный интерес представляет, в этом смысле, сравнение стихотворения Пушкина «Деревня» с поэмой Ильи Чавчавадзе «Видение». Возьмем, например, пушкинские строки:

«Здесь барство дикое, без чувства,  
без закона.

Себе присвоило насильственной лозой  
И труд, и собственность, и время  
земледельца.

С поникшей головой, покорствуя  
бичам,  
Здесь рабство тощее влачится по  
браздам

Неумолимого владельца.  
Здесь тягостный ярем, до гроба все  
влекут,



Надежд и склонностей в душе питать  
не смея».

Теперь припомним строки из «Видения»:

«Подобно камню сердце богатея,  
Он сам, увы, своих пороков раб.  
Молить его — бесплодная затея  
Для тех, кто в жизни немощен и слаб.

Бедняк молчит, в слезах ломая руки,  
Пощады просит взор его очей.  
Куда уйти от голода и муки,  
Как прокормить беспомощных детей?

Он думает: «Мой пот, моя забота,  
Моя неутомимая работа,  
И в дождь, и в слякоть беспросвет-  
ный труд,

Мои невзгоды, беды и страданья,  
Терпение, упорство, упованья, —  
Жена моя! — что нам они дадут?

...Раб трудится — хозяин поедает...  
Где справедливость в мире, боже  
мой?»

(Перевод Н. Заболоцкого).

Напрашивается также аналогия между стихами Пушкина:

«Здесь девы юные цветут  
Для прихоти бесчувственной злодея»  
и следующими стихами поэмы Ильи Чавчавадзе.

«И если бог послал бедняге дочь,  
Отмеченную чистой красотой, —  
Несчастный раб, чем можешь ты  
помочь  
Беде своей? Что станет с тобою?

Отнимут дочь, похитят, продадут,  
Заставят жить в печали и тревоге  
И, надругавшись, душу заплуют  
И, как цветок, растопчут на  
дороге».

(Перевод Н. Заболоцкого).

В своих поэтических и публицистических произведениях Ильи Чавчавадзе часто цитировал пушкинские стихи. К стихотворению, посвященному Александру Чавчавадзе, он в качестве эпиграфа предпослал строки из стихотворения Пушкина, посвященного Жуковскому:

«Его стихов пленительная сладость  
Пройдет веков завистливую даль».

В одной из своих полемических статей И. Чавчавадзе использовал пушкинскую строку: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» (из стихотворения «Элегия»). Во время известной полемики с представителями старого поколения писатель едко насмехается над своими противниками, используя в качестве оружия пушкинские изречения. «Других новых прозаиков и стихотворцев, за исключением некоторых, — писал И. Чавчавадзе, — да сохранит господь. Повторяя Пушкина, скажу, что их прегрешения забудутся так же скоро, как и немедленно после напечатания забудутся их стихи». Приведенные выше слова

Чавчавадзе представляют собой перефразировку известной эпиграммы Пушкина «На смерть стихотворца»:

«Покойник Клит в раю не будет:  
Творил он тяжкие грехи  
Пусть бог дела его забудет,  
Как свет забыл его стихи».

В другой своей статье И. Чавчавадзе для характеристики сотрудников журнала «Цискари» вновь обращается к остроумному выражению великого русского поэта. «Наше несчастье заключается в том, — писал И. Чавчавадзе, — что «Цискари» имеет подобных сотрудников, не сотрудников, а, говоря словами Пушкина, «бездельников деловых, которые больше мешают делу, нежели делают его». Это выражение взято писателем из замечательной эпиграммы Пушкина:

«Как брань тебе не надоела?  
Расчет короток мой с тобой:  
Ну так! Я празден, я без дела,  
А ты бездельник деловой».

В своем фельетоне «История для пересудов и забвения» И. Чавчавадзе, полемизируя со своим противником, известным журналистом Давидом Кезели (печатался под псевдонимом Зоил), прибегает к умелому перифразу пушкинских строк из стихотворения «Чернь». Он с насмешкой пишет в своем фельетоне: «Как красиво улюлюкал нам Зоил, что на знамени «Иверии», дескать, написано следующее:

«Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв».

Если это так, пусть так и будет. Да исполнится воля хана Зоила... Однако мы должны спросить: неужели более похвально, если у человека на знамени написано:

«Мы рождены для доносов,  
Для сплетен, лжи и клеветы».

В 1899 году, в столетнюю годовщину со дня рождения Пушкина, Ильи Чавчавадзе посвятил памяти великого русского поэта полностью весь номер (от 26 мая) редактируемой им газеты «Иверия». В этом номере он поместил фотографию поэта, посвященную Пушкину передовую статью, его биографию, статью Арбоели (Нико Ломоури) «Великий поэт России» и переводы стихотворений Пушкина, выполненные Александром Чавчавадзе, Рафаэлом Эристави, Григолом Орбелиани, Мамиа Гуриели, Михаилом Туманишвили, Шио Мгвимели, самим Ильей Чавчавадзе и другими выдающимися грузинскими поэтами.

Весьма примечательна передовая статья «Иверии», посвященная роли Пушкина в деле развития грузинской литературы. Газета писала: «Значение Пушкина для грузин весьма велико: за последние шестьдесят лет в Грузии не было такого поколения, которое, обучаясь чему-нибудь, не было бы захвачено музой Пушкина. В произведениях лучших наших поэтов — Григола Орбе-



лиани, Александра Чавчавадзе, Николаза Бараташвили, Рафаэла Эристави, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели — везде заложена частица Пушкина. Некоторые из них переводили на грузинский язык стихотворения Пушкина, а в стихах других видно его влияние».



Высоко ценил Илья Чавчавадзе Лермонтова и его творчество. Выше мы уже отметили, что он называл Пушкина и Лермонтова «первейшими звездами русской поэзии». Еще в годы студенчества, в период жизни в Петербурге и Павловске, И. Чавчавадзе перевел на грузинский язык стихотворения Лермонтова «Сон», «Пророк», «Утес», и поэму «Хаджи-Абрек». В 1854—60 гг. он перевел отрывки из лермонтовских поэм «Демон» и «Мцыри». Из этих переводов на страницах «Цискари» были опубликованы поэмы «Хаджи-Абрек» и стихотворение «Пророк» («Цискари», 1860 г., № 11 и 1881 г., № 1), а стихотворение «Сон» — в журнале «Сакартвелос Моамбе», № 4 за 1863 год.

Поэзия Лермонтова, вне всякого сомнения, сыграла большую роль в формировании творчества Ильи Чавчавадзе. Весьма знаменательно, что его стихотворение «Как поступали, или история Грузии XIX века» по своим внешним признакам, композиционному строю и форме диалога весьма напоминает лермонтовское «Бородино». То же самое следует сказать и относительно стихотворения «Нана» (мы имеем в виду второй вариант), эпиграфом к которому стоит строка из лермонтовского стихотворения:

«Спи, пока забот не знаешь,  
Баюшки-баю».

Илья Чавчавадзе обнаруживает превосходное знание творчества Лермонтова и в другом своем стихотворении — «Мой мучитель, знаю, знаю», написанном в 1860 году в Павловске. В этом стихотворении, эпиграф которого «Да вряд ли есть родство души» взят из лермонтовского стихотворения «Я к Вам пишу: случайно, право», — И. Чавчавадзе не разделяет чувства, выраженного в эпиграфе, и, как бы полемизируя с ним, заканчивает свое стихотворение строкой «Есть родство души с душой!»

Творчество Пушкина и Лермонтова являлось постоянным спутником Ильи Чавчавадзе на всем пути его творческой и общественной деятельности.



В своих художественных и публицистических произведениях Илья Чавчавадзе часто пользовался образами и высказываниями героев комедии Грибоедова «Горе от ума». В 1871 г. И. Чавча-

вадзе одну из своих известных «Загадок» посвятил литератору М. Б. Туманишвили; для характеристики Туманишвили он использует образ Молчалина:

«Грузинский сей Молчалин,  
Хоть без лика и без ума,  
Зато гордится тем,  
Что один за другим к нему текут  
чины».

(Перевод подстрочный).

В полемической статье «Якобы «человек нового отряда», написанной в 1883 году, И. Чавчавадзе вновь обращается к образу Молчалина. Он пишет:

«Даже если это не так, почему сей человек из «нового отряда» хватается за старую теорию, которая приказывала младшему «не смей свое суждение иметь» перед старшим. Дескать, собрание старше, а правление младше, поэтому последнее должно молчать и лишь все время поддакивать! Нечего сказать, хороши будут порядки в том новом времени, которое обещает автор. Ведь все это Молчалин знал лучше и раньше нас. Что же тут нового?».

Илья Чавчавадзе постоянно оказывал содействие делу перевода и распространения бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума». В 1863 году в № 12 своего журнала «Сакартвелос Моамбе» («Вестник Грузии») И. Чавчавадзе опубликовал отрывок перевода грибоедовской комедии, выполненный Георгием Эристави. А затем, уже в преклонном возрасте, в 1902 году И. Чавчавадзе сам отредактировал текст перевода «Горе от ума», выполненного молодой поэтессой Гандегили. Как известно, этот перевод считался лучшим до последнего времени и был несколько раз издан уже в советские годы.



В своей первой критической статье, в 1860 году, выступая против перевода на грузинский язык произведений русского писателя И. Козлова, Илья Чавчавадзе говорил: «Действительно, удивительно! Раз уж человек захотел что-либо перевести с русского, то как можно было забыть Пушкина, Лермонтова, Гоголя и обратиться к незначительному Козлову, да еще выбрать у него худшую из поэм, как это сделал князь Эристави».

В своих художественных произведениях И. Чавчавадзе также неоднократно вспоминает Гоголя и персонажей его бессмертных произведений. Еще в незаконченном прозаическом произведении студенческих лет «Како» (1857 — 1859 гг.) И. Чавчавадзе пишет: «На все, что говорил Гдзеладзе, этот Трахадзе отзывался тем же, как пустой



кувшин, да еще бессмысленно начинал кудахтать и глуповато посмеивался. Он немного походил на гоголевского Бобчинского и был бы еще больше похож, если бы не имел грузинского колорита». И далее: «Мы имеем грузинских добчинских и бобчинских, чиновников, собакевичей и других, но от всех них пахнет грузинским духом. Может быть, когда-нибудь я подробно опишу внешний и внутренний облик наших сиятельных князей...».

Илья Чавчавадзе обращался к использованию гоголевских образов также и в своих критико-публицистических произведениях. В 1881 году, в одном из своих ежемесячных обзоров в журнале «Иверия», касаясь убожества грузинского дворянского общества, он с глубоким сожалением писал: «Разве мы не заслуживаем того, чтобы появился городничий из «Ревизора» и спросил нас: когда смеетесь, над чем смеетесь? Вы глумитесь над собой!».

В своем литературном творчестве Илья Чавчавадзе твердо придерживался метода критического реализма. Не случайно критики и рецензенты произведений И. Чавчавадзе неоднократно отмечали сходство между «Старосветскими помещиками» Гоголя и повестью «Человек ли он?» Ильи Чавчавадзе. Луарсаб Таткаридзе и его жена Дареджан многими чертами своего нрава и характера напоминают читателю гоголевских Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Вместе с тем, «Человек ли он?» Ильи Чавчавадзе — совершенно оригинальное произведение, в котором нашла свое глубокое отражение действительность «дореформенного» грузинского села. Даже больше того: в сравнении с названным произведением Гоголя, у Ильи Чавчавадзе ужасающие условия крепостнического режима отражены в еще более сгущенных красках и типичные представители грузинского помещичье-дворянского общества показаны в свете еще более суровой и гневной сатиры.

В 1886 году, в связи с пятидесятилетием первой постановки комедии Гоголя «Ревизор», газета Ильи Чавчавадзе «Иверия» широко осветила на своих страницах огромное значение творчества Гоголя в развитии русской литературы, а также его роль в развитии грузинской литературы и общественной жизни. В специальной передовице газета писала: «Сенковский и Булгарин преследовали того человека, который оставил по себе вечную память; преследовали и отравляли жизнь тому человеку, который болел сердцем за родину. Положение Гоголя было тяжелым; трудно жить талантливому человеку там, где господствуют люди, подобные Сенковскому и

Булгарину, но у таких людей, каким был Гоголь, хоть то остается надеждой, что:

«Лучше смерть, но смерть со славой».

Чем бесславных дней позор».

Когда грузинское Драматическое общество решило организовать торжественный вечер, чтобы отметить юбилейную дату «Ревизора», газета «Иверия» приветствовала это решение и посвятила ему специальную статью. «Правление нашего Драматического общества... теперь решило поставить спектакль, — писал Илья Чавчавадзе в газете, — в память того писателя, который своей комедией «Ревизор» стал бессмертным для всей России. Хотя выведенные в этой пьесе типы полностью взяты из русской жизни и выросли на русской почве, которая нами не изучена и нам незнакома, но талант и искусство Гоголя рисуют эти типы с такой реалистичностью, описывают их жизнь и душевные движения с такой искусной тонкостью, что автор вполне заслуженно приобрел в России великую славу».

«Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой и другие такие же деятели, — писала «Иверия» в передовой статье, — признаны всеми лучшими русскими людьми славой и гордостью России. Благодаря им, сегодня Европа иными глазами смотрит на духовные силы России, выразителями которых являлись упомянутые талантливые русские люди».

«Иверия» также подробно описала содержание вечера, посвященного памяти Гоголя. В этом вечере, организованном 6 мая 1886 года, принял участие великий грузинский поэт Акакий Церетели, который прочитал свое стихотворение, посвященное Гоголю. В представлении «Ревизора» участвовали выдающиеся представители грузинской сцены — Васо Абашидзе (Хлестаков), Ладо Месхишвили (Добчинский), М. Сапарова-Абашидзе, В. Гуния и великий грузинский романист Александр Казбеги, который в ту пору выступал на грузинской сцене в качестве актера.

Весьма примечательно то обстоятельство, что газета «Иверия», отметив горячее участие передового грузинского общества в торжественном вечере в память Гоголя, подчеркнула отсутствие на этом вечере представителей кавказской официальной прессы и местных русских реакционных литераторов, которые являлись достойными сподвижниками булгаринских, сенковских и катковых.



В своих произведениях Илья Чавчавадзе с чувством глубокого уважения на-



звал Некрасова «преданным народу деятелем». Как поэт, Некрасов много содействовал идейно-художественному формированию грузинского поэта. И не случайно, что в своих публицистических статьях Илья Чавчавадзе неоднократно прибегал к цитированию некрасовских строк. Так например, в одном из фельетонов, направленных против журналиста Давида Кезели, И. Чавчавадзе писал, что лишь «слабоватый на голову человек»

«Чужд сомнения в себе,—

Сей пытки творческого духа».

Это строки из стихотворения Некрасова «Блажен незлобивый поэт...».

Илья Чавчавадзе высоко ценил журнал Некрасова «Современник», в котором сотрудничали великие русские мыслители революционеры-демократы Белинский, Чернышевский, Добролюбов и другие. Не называя их, по цензурным соображениям, прямо, И. Чавчавадзе говорил о них, как об «отрицателях старого и вождях нового». По словам И. Чавчавадзе, в каждом их действии «видно или отрицание и осуждение всего отжившего и устаревшего, или проповедь и стремление к медленно расцветающему новому. Лучшие представители этого общества — в поэзии, науке или публицистике — являлись неутомимыми последователями этого великого дела».

В некрологе на смерть Некрасова газета «Иверия» отмечала, что, хотя журнал «Современник» «много потерял со смертью Белинского», но все же он, благодаря Некрасову, сохранил почетное место в русской литературе. По словам газеты, в 1856—1866 гг. вокруг журнала собрались «лучшие писатели». Этот период, — говорила «Иверия», — «является славным временем как для некрасовского журнала, так и для самого Некрасова. В этот период в России начались великое движение идей и государственные изменения. К этому же времени относятся лучшие стихотворения Некрасова, который в ту пору оказывал большое влияние на молодежь в России, а также и на нашу учащуюся молодежь». Далее газета касается поэзии Некрасова и отмечает, что она была «поэзией народной скорби» и что последователей творчества Некрасова «много было не только в русской, но и в грузинской литературе».

Весьма показательно, что современная Илье Чавчавадзе грузинская литературная критика отмечала известную близость поэтических мотивов Некрасова и Чавчавадзе. Лучшим примером этого является критическая статья Нико Николадзе, опубликованная им в 1889 г. в русской газете «Обзор». «В русскую поэзию, — писал Н. Николадзе о Некрасове, — он первым внес тот элемент, который до того проникал в поэ-

зию лишь изредка и незаметно». Как отмечал Н. Николадзе, эти элементы были взяты из реальной жизни и «полностью соответствовали требованиям ее правильного развития». По словам Н. Николадзе, и творчество Ильи Чавчавадзе, подобно творчеству Некрасова, оказало огромное влияние на развитие умственной жизни родного народа.



В своих произведениях Илья Чавчавадзе неоднократно упоминал и других выдающихся представителей русской литературы. В ранней критико-полемической статье «Ответ» (1861 г.) И. Чавчавадзе с уважением вспоминает Кольцова, как вышедшего из недр народа поэта, который своим замечательным талантом заслужил уважение в широких читательских массах.

В той же статье, используя образы крыловских басен для высмеивания своих литературных противников, И. Чавчавадзе писал: «Пожалуйста, пожалуйста, собратья нашей писательницы (Барбары Джорджадзе.—Л. А.) и составьте крыловский квартет...».

Иногда И. Чавчавадзе пользуется образами крыловских басен и в своих художественных произведениях. Так, в повести «Како», характеризуя диамбега, автор говорит, что тот имел «губы, подобные губам крыловской лисы, всегда со знаками содеянного греха».

В упомянутом уже «Ответе» использована также цитата из стихотворения Аполлона Майкова. «Г-н Баратов, — замечает И. Чавчавадзе, — не ведает всю правоту приводимых ниже слов русского поэта:

«Гармонии стиха божественныя  
тайны  
Не думай разгадать по книгам  
мудрецов».

В 1879 году Илья Чавчавадзе, ополчившись против царившей нераспорядительности, писал на страницах «Иверии»: «Недавно решили, — пишет он, — учредить общество для воспитания и ухода за молодежью. Учредители пригласили много лиц в зал Сельскохозяйственного общества, произнесли заранее вызубренные речи, пара ораторов показала себя, и дело закончилось тем, чем, — как показывает Салтыков-Щедрин, — заканчивается в России всякое дело, т. е. избрали комиссию и поручили ей не только составить положение об обществе, но и определить предмет наших пожеланий».

В 1883 году, в год смерти Тургенева, Илья Чавчавадзе перевел на грузинский язык семь стихотворений в прозе великого русского писателя: «Разговор»,



«Старуха», «Собака», «Нищий», «Услышишь суд глупца», «Дурак» и «Воробей».

Через несколько лет в статье «Азия раньше и теперь» И. Чавчавадзе вновь вспоминает слова своего любимого писателя: «Не напрасно сказал Тургенев, что природа не храм, где человек должен молиться, а мастерская, где он должен работать и трудиться».

Эти слова Базарова, как видно, были весьма близки Илье Чавчавадзе, ибо их он приводил в своей статье в качестве руководящего принципа.

Уделяя много внимания делу перевода и популяризации в грузинских читательских массах произведений замечательных русских писателей, Илья Чавчавадзе, начиная с 1886 года, часто помещал на страницах своей газеты «Иверия» переводы повестей Льва Толстого, а также статьи и заметки о его жизни и творчестве. На страницах «Иверии» были опубликованы переводы таких произведений Льва Толстого, как «Три

старца», «Страшный вопрос» и др., а также статьи в связи с сорокалетием литературной деятельности великого русского писателя.

Илья Чавчавадзе всегда с большим вниманием следил за развитием русской литературы; он неизменно стоял на позициях прогрессивной, демократической литературы и с этих позиций активно боролся против всего реакционного, отсталого и отжившего в литературе и общественной жизни. В своих ранних критических статьях И. Чавчавадзе резко выступил против таких реакционных писателей, как Булгарин и барон Брамбеус, а позднее, в 1882 году, он заклеил позором столпа русской реакционной журналистики — Каткова. Но одновременно Илья Чавчавадзе пользовался каждым случаем, чтобы подчеркнуть перед современным ему грузинским обществом заслуги прогрессивной, демократической русской литературы, а также все значительные и достойные явления ее развития.

*...Когда, к несчастью, в одних руках сосредоточена земля, а в других — труд, когда на этом построены отношения, то здесь, в этом и есть начало несправедливости.*

**И. Чавчавадзе.**





## СЛОВО

### О НЕРУШИМОМ БРАТСТВЕ

В апреле 1887 года в Петербурге вышла книга русского писателя, очеркиста и путешественника Е. Л. Маркова «Очерки Кавказа». Эта объемистая книга — 693 страницы, вышедшая в апреле 1904 года вторым изданием, роскошно, с 310 рисунками, а через несколько лет и третьим изданием, — стала серьезным средством ознакомления широких кругов читающей России с Грузией (из 693 страниц — Грузии посвящено 495 страниц), важным вкладом в дело взаимопонимания между русским и грузинским народами.

Книга пронизана горячей любовью к Кавказу, искренней симпатией к его народам.

Автор подчеркивает важное место Кавказа в истории человечества. «Здесь, — говорит он, — история зачалась и широко развилась еще тогда, когда самые старые народы Европы не были известны по имени, когда не существовало самого имени — Европа».

Продолжая традиции классической русской литературы, Марков мастерски, с тонким художественным вкусом описывает величественную природу Кавказа и Грузии; особенно большое впечатление на него произвели суровые горы Кавказа.

Но не только природа восхищает русского писателя; он с большой теплотой и любовью описывает духовную красоту грузинского народа. «Отрадно войти, — сообщает он, — во двор кулашского крестьянина средней руки, через его заповедные дедовские ворота. Зеленым сукном стелется его обширный

двор, среди которого приютились, под густою тенью громадных орехов, его домики и разные хозяйственные постройки. Тесный строй высоких, пирамидальных тополей живописно обрамляет этот зеленый четырехугольник». (Заметим, кстати, что много лет спустя М. И. Калинин, во время своего первого путешествия в 1925 году по Западной Грузии, обратил внимание на культурный и благоустроенный вид крестьянских усадеб).

Народ грузинский, отмечает далее русский путешественник, «не только красивый, но и преспособный». С удивлением и восторгом описывает он национальный характер грузин — сильно развитое в них чувство личного достоинства, независимости и равенства, радушие, гостеприимство, искренность, непосредственность. С большим уважением говорит автор об «изумительной нравственной стойкости грузинского племени».

С большой сердечной теплотой говорит русский писатель о славной героической истории грузинского народа: «Стоит познакомиться ближе с скорбными листами ее (Грузии — В. И.) летописи, чтобы окончательно убедиться... какую несокрушимую энергию воли должен был проявить этот небольшой народ для того, чтобы не пасть под непрерывными жестокими ударами судьбы...»

Марков в восторге от тех памятников материальной культуры, которые творческий гений грузинского народа создал в течение столетий. Он с грустью отмечал, например, что тогда шло «расхищение замечательной археологической



святыни» (храма Баграта в Кутаиси) и ее разрушение, что не были приняты меры к охране этого шедевра грузинского зодчества.

Марков полагал, что принципиальной базой отношений двух братских народов — русского и грузинского — должны стать равенство, дружба, уважение взаимных интересов, взаимное доверие, взаимопомощь и сотрудничество. «Мы, русские, — писал он, — дружески принявшие грузин в недра народа своего, не должны забывать, что мы не завоеватели, не победители их, что мы им равноправные братья, а не суровые господа. Мы не должны забывать, что грузины вступили в семью нашу для того, чтобы остаться самими собою, чтобы не быть поглощенными чуждым им племенем, чуждою верою, чуждыми обычаями. Поэтому все грузинское, все исторически приобретенное ими, все их народные святыни и все их народные свойства, имеют право на такое же уважение, на такую же поддержку, как и все наше собственное, русское. Союз двух братьев заключается в дружественном пособничестве друг другу, в привязанности одного брата к другому, а вовсе не в том, что личность одного приносится в жертву личности другого».

Русский писатель понял и полностью принял один из важных тезисов лагеря национально-освободительного движения Грузии: «Развитие грузинского языка, грузинской литературы, грузинской школы не только не может ослабить связей Грузии с Россией, но послужит сильнейшей и притом неизбежной подготовкой к ближайшему знакомству грузин с языком, литературой и школой России».

Марков решительно и смело выступал против реакционной националистической великодержавной политики царизма, против «мертвящего механического обрусения», считая эту политику «грубейшей и вреднейшей политической ошибкой». «Оковы, каковы бы они ни были, только сковывают ноги и руки, но не привязывают одного духа к другому, не порождают между ними союза любви и дружбы, без которого не может быть взаимно-полезной жизни».

С беспощадной суровостью обличал автор хищнические повадки русской кавказской администрации, ее угнетательскую политику.

Конечно, с точки зрения последовательного демократизма и интернационализма не все приемлемо в сочинении либерального писателя, но передовые люди той эпохи, прежде всего, обратили внимание на достоинства, а не на досадные ошибки книги Маркова. Они считали; и совершенно справедливо, что книга Маркова, при всех ее недостатках, в общем является важным прогрессивным

явлением, она оказывает большую помощь грузинскому народу в его борьбе с царизмом.

И первый, кто проникательно понял большое общественное значение книги «Очерки Кавказа» в той конкретно-исторической обстановке и с благодарной признательностью о ней заговорил, — был Илья Чавчавадзе.

Грузинская общественность восторженно приняла произведение Е. Л. Маркова, считая что оно должно «занять видное место в русской литературе», посвященной Кавказу и Грузии.

Еще тогда, когда очерки Маркова печатались в петербургской прессе, по словам «Иверии», — газеты И. Чавчавадзе, грузинская пресса «с большим рвением и интересом следила за этими талантливыми очерками».

Когда же книга «Очерки Кавказа» появилась в Тбилиси, «Иверия» посвятила ей большую, очень тепло написанную рецензию. Сильные стороны книги газета видела, во-первых, в искренности и честности автора, правильности и справедливости его суждений, во-вторых, в смелости и решительности его высказываний, особенно в отношении квалификации действий кавказской русской администрации, в-третьих, в образном изложении, местами художественном, поэтическом описании виденного, в-четвертых, в богатстве фактических данных, в основательном изучении материала.

В октябре 1899 г. Е. Л. Марков приехал в Тбилиси (это был его последний приезд). По инициативе Ильи Чавчавадзе грузинская общественность совместно с тбилисскими русскими интеллигентами устроила автору «Очерков» большой банкет. Гостю была поднесена лира с надписью «Художнику русского слова, вдохновенному бытописателю Кавказа Е. Л. Маркову от искренних почитателей и друзей».

Е. Л. Марков, глубоко тронутый теплотой и искренностью встречи с грузинской общественностью, выступил с горячим, взволнованным словом: «Я не знаю, как выразить сердечную благодарность всем многоуважаемым господам, почтившим меня, скромного русского писателя, таким трогательным и поэтическим приветствием... Я не первый раз на Кавказе и не только душой полюбил вашу прекрасную Грузию, полную южного солнца и южной сердечности, но, ознакомясь с подвижнической историей ее, проникся глубоким уважением к ее народу-рыцарю, народу-герою, который в течение стольких веков в одиночку принимал на свою грудь ожесточенные удары... пока не соединился в один братский союз со своим православленным русским братом и не стал вместе с ним недостижимым ни для каких врагов...»



Наконец, берет слово Илья Чавчавадзе, организатор этой знаменательной встречи.

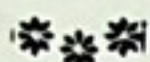
«В числе прочих, — сказал он, — позвольте и мне приветствовать Вас, Евгений Львович, на земле многострадальной родины моей, обретшей, наконец, свой покой под сенью великодушного русского народа, одним из двигателей которого на пути умственного и нравственного преуспеяния несомненно являетесь Вы. Прошу жаловать и миловать нас, забытых граждан русской земли, нашего общего отечества. Я говорю «забытых» не потому, что нас не помнят, а потому, что нас не знают. Редко кто из русских проявлял охоту познать нас, заглянуть нам в душу, проникнуть в наш внутренний мир и, по свойству и существу наших истинных, а не воображаемых помыслов и упований, воздать должное в сфере дел и начинаний государственного значения в нашем крае. Я говорю это не в упрек кому-нибудь, а из желания установить духовную связь между нами, связь, возникающую только на почве взаимного понимания. Нечего таить, мы, несомненно, любим нашу родину, но и нечего фальшивить — только любя ее, мы любим и Россию. Это так естественно, просто и понятно по природе нашей. Россия спасла нашу родину от погрома и унижения, она и ныне ограждает от повторения былых невзгод и страданий, она излечила ее раны. Кровожадный зверь, готовый ежеминутно растерзать на клочки всякое живое существо, — и тот смягчается и с любовью и благодарностью глядит на человека, очищающего и перевязывающего ему раны; как же разумному существу, одаренному божественною способностью проникаться моральной идеей, таить в себе семена вражды или даже равнодушно относиться к спасителю и охранителю той святыни, которую называют родиной?! Эта именно любовь к родине представляет собою ту плодотворную почву, на которой коренится, растет и крепнет наша привязанность и преданность к России. Эта именно любовь является прочным посредствующим звеном, соединяющим наши помыслы и упования с помыслами и упованиями лучших русских людей. В ней, в этой любви, следует искать точки сближения и единения частей с целым на благо всех и вся. Отнимите любовь, и вы не найдете в сердце человека другого чувства, на котором можно было бы возвести прочный фундамент братской любви и единения. К сожалению, не все понимают так благодетельное значение нашей любви к родине, и потому всякое, даже умеренное проявление этой любви в мирном и скромном стремлении сохранить нашу этнографическую самобытность, кажется каким-то непростительным грехом. И это все оттого, что нас не знают. На нас смотрят, но нас не видят, нас слышат, но не понимают. И в этом вся наша беда, в этом источник всех местных недоразумений. К счастью для России и входящих в состав ее народностей, не все клином на этом сошлось. Есть в ней люди, которые верно поняли истинную задачу русского деятеля на окраинах. В числе их позвольте с особенным удовольствием назвать Вас, Евгений Львович.

В очерках Ваших о Кавказе от Вашего просвещенного наблюдения не ускользнула необходимость решения этой высокой задачи русского человека на окраине, и со свойственною Вам независимостью убеждения Вы выразили, между прочим, одну глубокую идею в немногих, но метких словах, смысл которых в том, что следует стремиться прочностью государства основать не на единообразии, а на единодушии входящих в состав его народов. Идея эта является во всем величии неопровержимой истиной, и потому торжество ее мне представляется лишь вопросом времени».

И действительно: не прошло и двух десятков лет, как эти мечты Ильи Чавчавадзе — о наступлении счастливой светлой эпохи, когда отношения народов будут строиться на равенстве,

взаимном уважении и единодушии, — благодаря Великой Октябрьской социалистической революции осуществились в нашей стране.





Перевод с грузинского Е. Евтушенко.

**Н**ЕТ, друзья,  
мы вдруг не спохватимся:  
-«Где же юность?».  
Мы знаем где.  
В новом замысле,  
в новом натиске,  
В устремленности к той же звезде.  
Не боюсь я  
упреков жалящих,  
Осуждающих нашу судьбу, —  
Мы гудим и звеним  
в продолжающих  
Нашу молодость,  
правду,  
борьбу.  
Неизменно лишь то,  
что изменчиво.  
Так же слышится говор садов,  
Так же,  
так же влюбляются женщины,  
Но не в нас,  
а в наших сынов.  
Годы, годы,  
как старости вестники,  
Друг за другом  
стучатся в мой дом...  
Но ушли мы от детства,  
ровесники,  
А от юности мы не уйдем.  
Пусть мне долго тревожиться,  
мыкаться,  
И страдать  
из-за мелких грехов —  
Чья-то юность мне все же откликнется  
Рокотаньем моих стихов!



# Земляки

(Из походной тетради)

## I

Зимой сорок второго года, к нам, в редакцию армейской газеты, неожиданно приехал специальный корреспондент «Красной звезды» бригадный комиссар Петр Андреевич Павленко. Редакция размещалась тогда в холодных и неудобных землянках среди руин татарского хутора Алибай, разбитого бомбежкой. Жили мы не очень весело и не ахти как богато, но в честь писателя Петра Павленко все же был дан праздничный обед. Правда, вино — чудесное «Мукузани» выставил на общий стол сам гость. Военторговские скупцы отпустили нам всего одну бутылку шампанского. Зато обед по тому времени был великолепный — целая груда жареного картофеля с колбасой и поистине роскошные оладьи с клубничным вареньем.

Сели пировать.

С потолка землянки на оладьи и картошку все время осыпалась земля, но это нас не смущало, к такому гарниру мы давно привыкли. Смущало другое: за нашим столом сидел именитый гость. Бог знает, как надо с ним разговаривать?! Но Павленко сразу решительно восстал против всех почестей, которые мы ему воздавали.

— Ну что вы придумали, друзья! Как вам не стыдно! Мы же товарищи по оружию, мастеровые одного цеха и кроме того — земляки.

Тогда мы еще не знали, что «земляк» — одно из самых любимых слов Петра Андреевича. Потом, ближе познакомившись с Павленко — писателем и человеком, я убедился, что его земляками были и узбек из Ферганской долины, отважный воин Юсупов, о котором он так тепло написал в рассказе «Мой земляк Юсупов», и грузин Григорий Схулухия, предсмертную героическую песню которого Павленко сохранил для грядущего, и



чабан с заоблачных гор Дагестана, и бакинский нефтяник, и туркменский хлопкороб, и тракторист из-под Полтавы, и охотник из племени удэге — всем трудовым людям обширной Советской страны был он земляком, то варищем, братом...

Но в тот день только начиналось наше знакомство с Петром Андреевичем, и кто-то из моих друзей усомнился:

— Земляки? Так вы же москвич, товарищ бригадный комиссар. А мы тут все коренные крымчане. Правда, осталось нас не много...

— Много, — возразил Павленко, — очень много, весь крымский фронт. А это ведь десятки тысяч людей — москвичи, бакинцы, тбилисцы, ереванцы, ростовчане... И все они сейчас по праву называют себя крымчанами. А вы говорите! И я вот тоже, — он хитровато прищурился, — приказом редактора «Красной звезды» назначен к вам в земляки. Принимаете?

— Принимаем!

— То-то же.

Посидев с нами часок, Петр Андреевич стал собираться.

— Спасибо, земляки, но больше не могу. Приказано послезавтра передать в редакцию триста строк о морской пехоте. Не дай бог, опоздаю, затребуют в Москву и, пожалуйста, товарищ Павленко, бриться на гарнизонную гауптвахту. — Павленко улыбнулся. — Думаете, шучу? Ничуть. Редактор у нас строгий, он спуску не даст. И потом в «Звездочке» традиция такая: «Жив ты или помер, главное, чтоб в номер материал успел ты передать...».

Нам это понравилось. У нас тоже был строгий редактор и такая же славная традиция.

Павленко попрощался. Я вызвался сопровождать его в бригаду морской пехоты.

— Можете ехать, политрук, — разрешил редактор. — Вам всем не мешает поучиться у такого мастера. А то пишете вы у меня левой ногой, обутой в лапоть...

Редактор был у нас силен по части литературной критики.

Поехали. В дороге «газик» Петра Андреевича закапризничал, и мы едва добрались до разбитой вдребезги деревни с невеселым названием Агибель. Павленко тотчас же дал ей другое, более верное название — Погибель. Это и в самом деле было совершенно гиблое место: каждые полчаса с точностью до минуты его бомбили с воздуха, а в промежутках обстреливали из орудий и тяжелых минометов. Но мы застряли в этой самой Погибели всерьез и надолго. Водитель отправился куда-то за десять километров в знакомый автобат доставать не раз проклятую коничку, а мы остались охранять машину.

Близилась ночь, с моря подул холодный ветер, пронизывающий до самого нутра. Выручили нас какие-то красноармейцы, сказав, что машину они постерегут, да и кому она тут нужна — здесь же кругом чистая пехота, а нам посоветовали устраиваться на ночевку в длиннющем амбаре — клуне, единственном уцелевшем здании Агибеля.

— А вы кто будете? — спросил Павленко. — Какой части?

— Мы похоронная команда, — ответил за всех пожилой красноармеец, одетый в овчинный полушубок деревенского, не военного покроя. — Мы тут всю ночь будем работать, так что не беспокойтесь.

— Эх, работенка! — с горечью сказал другой красноармеец, помоложе. — Ужас, сколько сегодня народу побил. Вот сами посмотрите, товарищи начальники.

И он рукой показал на невысокий саманный забор. Под ним рядком



лежали люди. Издали казалось, что они просто прилегли отдохнуть в за-тишке — так естественны и нестрашны были их позы.

Мы подошли ближе. Среди убитых оказалась одна женщина. Ее по-чему-то положили чуть поодаль от мужчин. Взрывная волна почти совер-шенно оголила несчастную. Мы отвернулись. Павленко зачем-то снял оч-ки и, ссутулившись, пошел к машине. Вернулся он с плащпалаткой и бе-режно прикрыл ею женщину.

...В амбаре людей было немного, а места — сколько хочешь, — в такую крымскую клуню, если понадобится, можно завести на ночевку дири-жабль — свободно поместится. Мы пристроились на тюках сена.

— Поспим, — сказал Павленко. Но поспать нам не удалось: немцы и ночью не оставляли Агибель в покое.

Словом, ночь мы провели прескверно. Зато утро обрадовало нас. Это было прелестное, настоящее степное утро. Легкий морозец, прозрачный воздух и чистое, без единой морщинки, какой-то особо густой синевы не-бо. И вдруг в этой синеве прорезались, словно молочные зубы, крымские горы, почти невероятной, ничем не запятнанной белизны.

— Смотрите! — воскликнул Павленко. — А на горах, оказывается, снег. Вот тебе и солнечный Крым! Мне почему-то казалось, что там, на южном берегу никогда не бывает зимы. Значит, бывает?

И Петр Андреевич забросал меня вопросами о южном берегу. Какой он зимой, весной и летом? Но я не смог удовлетворить его любопытство. Я плохо знал горный Крым и еще хуже его южный берег. Я джанкоец — моя родина присивашские степи. И мне очень хотелось, чтобы и Павленко полюбил степной Крым. Волнуясь, я стал рассказывать о нем Петру Андреевичу. Мне казалось, что я говорю вдохновенно и поэтично, но Пав-ленко едва заметно пожал плечами и сказал с присущей ему жесткова-той определенностью:

— Нет, крымскую степь я не люблю. Тоскливая, необжитая челове-ком пустыня. В Крыму я люблю крымские горы, крымское море, крым-ское солнце...

Я огорчился.

— А вы не обижайтесь, — примирительно сказал Петр Андреевич. — Я видел вашу степь только из окна вагона, а, значит, совершенно не знаю. Бот, познакомлюсь с ней поближе и, конечно, полюблю. Обязательно по-люблю.

Думаю, что он, наверное, и не вспомнил об этом нашем разговоре, когда несколько лет спустя писал «Степное солнце» — повесть о родном моем присивашском крае. И все же порой мне кажется, что какой-то пер-воначальный мотив этой повести родился в его душе еще там, на истер-занной керченской земле, когда перед нашими взорами, словно степной мираж, возникли за линией фронта, на далеком, недосыгаемом пока го-ризонте покрытые снегом горные вершины Крыма.

— Кажется, я теперь навсегда заболел Крымом, — сказал мне тогда Петр Андреевич. — Правда, был один непродолжительный приступ, еще в тридцать пятом году. В то время я много ездил по стране и повсюду строил домики, в мечтах, конечно. Увижу, бывало, хорошее место, и сразу готов проект — небольшой такой домик под черепичной крышей и садик. Садик обязательно. Вместе с домиками планировались будущие романы, которые мне все некогда было написать. Думал: вот построю такой до-мик, и, не торопясь, обязательно их напишу.

Приехал я как-то в Ялту и сразу решил: если строиться, то только здесь. Это же рай земной! И такая меня охватила строительная лихорад-



ка, ночей не сплю. Но один ялтинский деятель быстро меня от нее излечил. Я к нему с очередным проектом, а он разводит руками: нельзя, занято, не предусмотрено генпланом. И все такие убедительные слова — даже не обидишься.

Потом все-таки сжалился:

— Так и быть, Павленко, сосватаю тебе хорошенькую дачку. Почти готовую. Работы — на неделю, а потом живи себе всю жизнь и наслаждайся. Хочешь, посмотрим?

Посмотрели. Стоят четыре обглоданные стены, без крыши, без окон и дверей. Единственное, что более или менее уцелело, это минарет. Тоненький такой, с заостренной верхушкой, словно впервые очиненный карандаш. Красивая штука.

— Так это же мечеть, — говорю я.

— Была мечеть в прошлом веке. А теперь нежилой фонд, состоит у меня на балансе. Ну что, Павленко, берешь?

— Взял бы, да вот крыша...

— Крыша пустяк. Так и быть, подсоблю. Подкину по себестоимости черепицу.

— Спасибо. Только минарет мне совсем уж ни к чему.

— Удивляюсь тебе. Ты же писатель. Я тебе этот минаретик для вдохновения подбрасываю, а ты отказываешься...

Павленко весело рассмеялся, вспоминая этот свой давнишний разговор. Но вдруг посерьезнел:

— Размечтались мы с вами, земляк, а там ведь еще оккупанты, враги, — сказал он, показывая рукой за линию фронта. — Поехали, поехали, политрук. Работать надо, воевать надо. А то не видать нам Крыма.

## II

Весной сорок четвертого года мне довелось участвовать в боях за освобождение Крыма. Узнав об этом, Павленко написал мне из Москвы:

«Как я завидую, что вы побывали уже в родном Крыму, — не можете себе представить... Пишите подробней о своем житье-бытье, а также о встречах в Крыму».

А через несколько месяцев еще одно письмо:

«Дорогой земляк! Когда же мы будем дома, в Крыму, под родным солнцем? Моя теща Лариса Ив. Тренева уже побывала. Она приехала с впечатлениями очень новыми. Мне захотелось навсегда уехать в горы Крыма... Кажется, выеду. Хотел бы видеть там и вас. Сейчас надо строить. И каждого ждет свой кирпич и своя шахта. Ваша шахта — в Крыму».

После войны Петр Андреевич поселился в Ялте. В одном из первых писем оттуда он писал:

«В Крыму я работал хорошо и много, хотя жил дурно — без дров и крыши.

Тогда было обидно, а сейчас привык, ничего. Здоровье резко улучшилось. В общем, спасибо этой чахотке, без нее я бы не был человеком. А так — копаю огород, пью вино, купаюсь, пишу и ложусь спать не позже одиннадцати часов вечера.

Ну, не рай?

Да к тому же я ничего не редактирую и ничего не читаю из рукописей, т. к. мне их не посылают, не хожу на заседания, потому что не приглашают, не бываю в кино и театре. Ну, не рай? Конечно, рай... Пока здесь жизнь бьется в ослабленном ритме и о культуре как-то не особенно



думают, впадая в грех «очередности»... Но все это временно, я думаю. Еще год-два — и Крым зацветет».

Признаться, я тогда не очень поверил в этот невозможный для Петра Андреевича рай. Не такой он человек, комиссар Павленко. Что-то тут не так!

Читая это письмо, я вдруг вспомнил один вечер, проведенный вместе с Павленко. Как-то в Тбилиси мы пошли с ним в театр имени Палиашвили смотреть балет. Он был поставлен на сюжет старинной народной сказки и, как мне сейчас помнится, главный герой не то во сне, не то наяву побывал в поисках счастья сначала в раю, затем в аду. Не знаю, по чьей вине это произошло, но рай, изображенный на сцене, показался нам совсем не интересным. Минут пятнадцать мы равнодушно смотрели на что-то очень меланхолически вялое, невесомое, словом, никак не осязаемое. Петр Андреевич откровенно скучал, позевывал, и жаловался на хозяйку штаба, выдавшую ему тесные сапоги: «С ума сойти можно, до того жмут». Но вдруг на сцене возникла другая картина. Это было чудесное, захватывающее зрелище, в котором художники ярко выразили исконное народное, человеческое несогласие со злым библейским представлением о преисподней. Вихревая пляска, много света и огня, волшебная игра красок, искромётное, заразительное, земное веселье очаровали нас.

Я никогда до этого не видел Петра Андреевича таким: он азартно хлопал в ладоши и вместе с другими кричал: «Бис! Bravo!»

— Вот это жизнь, вот это по мне! — сказал Петр Андреевич в антракте. — А рай кому нужен? Унылым, пустопорожним, разочарованным людям. Рай! — презрительно фыркнул он. — От скуки удавишься. Молодцы, ей богу, молодцы. Мудрый народ, в самый корень смотрит.

«Нет, никого вы не обманете, Петр Андреевич, не созданы вы для райского блаженства», — думал я, читая его письмо, и вскоре еще раз убедился в этом. Проездом удалось мне заглянуть на несколько часов к Павленко в его дом, в нагорной части Ялты.

Встретил он меня в саду, с лопатой в руках.

— Здравствуйте, земляк! Навсегда? Еще в армии? Ну что ж, понимаю. Раз надо, так надо. А я, как видите, уже накрепко врос в Крым, всеми своими корнями. Всеми.

Недолго пробыл я тогда у Павленко, и все же ясно увидел, какими действительно глубокими корнями врос он в крымскую землю. И, конечно, не дом и не сад были этими корнями (хотя деревья, посаженные человеком, и дом, в котором человек живет, крепко привязывают его к земле), а многочисленные павленковские дела.

Здесь часто звонил телефон, совсем, как в московской квартире. Павленко после каждого звонка все более и более оживлялся.

— Приглашают на шесть часов в горком. Сопровожение по школьному вопросу. Ох, и будет бой! Со школами у нас еще очень плохо, — сказал он, положив телефонную трубку. И по глазам его я увидел, что предстоящий бой вовсе его не огорчает. После другого телефонного звонка, подчеркнуто настойчивого, явно междугородного, Павленко, победоносно улыбаясь, сообщил:

— Можете меня поздравить. Утвердили наш альманах. Правда, здорово!

— А из чего вы его будете делать? — спросил я.

— Найдем. На урожай не жалуемся. Вот посмотрите.

На столе, рядом с главами нового павленковского романа, лежали рукописи пока еще никому не известных крымских писателей: повесть врача — участника Севастопольской обороны, записки подпольщика, сти-



хи молодой сельской учительницы. Рукописей была гора, и Павленко сказал:

— И альманах двинем, и издательство...

Я рассмеялся и напомнил Петру Андреевичу о том письме, в котором он расхваливал свое райское крымское житье без рукописей и совещаний, без альманахов и издательств. Он нахмурился.

— Да, было такое время: болел, температурил. И еще другие обстоятельства, не от меня зависящие. Поневоле жил дачником. Не совсем, правда, дачником, но в общем, скучно. А сейчас, слава богу, нормально живу, по-человечески... Много пишу, встречаюсь с интересными людьми. А какая же жизнь без этого!

Людей в тот день я видел в доме Павленко множество. Но больше других запомнились мне трое. Не помню, по какому делу пришел к Петру Андреевичу председатель промысловой артели, очень солидный, седоусый мужчина, с партизанской медалью на белом, хорошо отутюженном кителе. Но зато хорошо помню, как Павленко на него навалился:

— Послушайте, это же безобразие! Кастрюли нельзя в Ялте починить! А как работают ваши «холодные» сапожники?! На днях я видел, — одна курортница плакала. Бедной женщине на светлые туфли положили красную латку.

Председатель снисходительно и вежливо улыбался, похоже, что он не понимал, почему горячится Павленко. А Петр Андреевич все наседавал и наседавал. Он привел много фактов — смешных и обидных. Пожалуй, их хватило бы на целый номер «Крокодила».

— А что я могу сделать, — развел руками председатель. — Я все время требую материал. Не дают.

— Вы же партизан... И вам не стыдно так говорить?!

— За стыд, товарищ Павленко, мне и гвоздика сапожного не дадут! — рассердился, наконец, председатель. — Критиковать вы все мастера. А вы помогите.

— И помогу! — так грозно и решительно сказал Павленко, что председатель испуганно удивился.

А я подумал: ну зачем писателю, который должен создавать романы, рассказы, сценарии, ввязываться в эти примусные, сапожные, кастрюльные дела? Но сам Павленко, по всему виду, был очень доволен этой новой, добровольно взятой на себя нагрузкой. Не дав председателю опомниться, он тут же обстоятельно договорился с ним о совместных наступательных действиях.

Другой запомнившийся мне посетитель павленковского дома был бригадиром из пригородного переселенческого колхоза. Глаза молодые, а борода стариковская. И беззубый.

— В гестапо человека изуродовали, — шепнул мне Павленко.

Говорил бригадир невнятно, и мне казалось, что он все время повторяет одно и то же:

— Тягло. Тягло. Тягло.

А Петру Андреевичу было понятно каждое его слово.

— Тракторную бригаду вам перебросят на той неделе, это мне твердо обещали, — сказал бригадиру Павленко. — А с лошадьми пока ничего не вышло, придется подождать. Вот поеду в Симферополь, поговорю в сельхозотделе.

И я опять поразился тому, что писатель Павленко занимается этими, как будто не положенными ему, делами. А бригадира ничуть это не удивляло, он, повидимому, считал, что так и должно быть.

Третий — механик МТС, молодой человек в синем комбинезоне, демобилизованный из армии офицер-танкист. С товарищем этим у Павлен-



ко было давнее и довольно сложное дело. Механик что-то изобрел, по мнению Петра Андреевича, очень ценное; если не ошибаюсь, это был универсальный плуг для обработки горных виноградников, а где-то, в каких-то учреждениях отнеслись к изобретению с холодком. Павленко вмешался в это дело, сам писал и заставлял механика писать в различные инстанции. На этот раз механик принес Петру Андреевичу для окончательной редакции статью в одну из столичных газет, в которой описал свои изобретательские мытарства. Написал он статью деловито и в то же время хлестко. Противников своих протер с песочком. Павленко читал и смеялся. Механик тоже смеялся. Смех у него был хороший, здоровый. Когда он ушел, я сказал Павленко:

— Веселый товарищ. Не унывает.

— А зачем ему унывать! Человек три раза в танке горел, Берлин штурмовал. Такой кого хочешь одолеет. Богатырь.

Сказал это Павленко с какой-то особенной нежной гордостью за человека, который, как видно, очень пришелся ему по душе.

Мне пора было идти в порт, на теплоход.

— Нет, так вы не уйдете, — запротестовал хозяин. — Закусим, и я вас таким крымским мускатом угощу, — пальчики оближете.

— А я вас кахетинским.

— Привезли?

— Захватил бутылочку.

— Молодец!

Квахетинское Петр Андреевич некоторое время рассматривал на свет, зачем-то понюхал его и, отхлебнув глоток, пожевал вино, пробуя его на вкус.

— Изумительно пахнет грузинским солнцем! Чувствуете? А знаете, это здорово: мы теперь с вами вдвойне земляки — и по Крыму и по Грузии. Ну что там нового, в Грузии? Рассказывайте.

Его все интересовало: строительство металлургического завода в Рустави и новая роль Акакия Хорава, реконструкция музея в Зугдиди, и здоровье кутаисского плотника, старого солдата, георгиевского кавалера, о котором Павленко в годы войны написал очерк.

— А сами вы что написали о Грузии? — спросил Петр Андреевич. — Мало! У меня в планах на ближайшее время роман о Тбилиси. Это изумительный город. Его, как первую любовь, никогда нельзя забыть.

Слушая, как Павленко говорит о Тбилиси, я подумал: да, это любовь. Большая. На всю жизнь. И куда теперь ни забросит Петра Андреевича судьба, — он повсюду останется тбилисцем. И грузинский акцент, и широкий, выразительный жест природного тбилисца — это уже навсегда.

«Врожденное» — определяет сам Павленко. Верно сказано. Хотя родился Павленко в Петербурге, он по праву считает Тбилиси своей второй родиной. Воспоминания о своей жизни Павленко может начать только лишь с «Нахаловки» — рабочего предместья Тбилиси, где в начале этого века поселилась его семья.

А жизнь «Нахаловки» была в то время яркой и бурной. Наступил 1905 год, и грянул гром первой русской революции.

Шестилетнему Пете Павленко какой-то мальчишка подарил десять блестящих полированных металлических шариков. «Картечь», — сказал он внушительно. Петя Павленко видел с порога своего дома вооруженных рабочих, не таясь, наблюдал за их стычками с полицией. Здесь, в «Нахаловке», каждая улица была полем ожесточенных боев. В соседних домах после стычек с полицией и казаками женщины перевязывали раненых и оплакивали убитых. В памятной книжке Петра Андреевича есть такая



запись: «...держась за руку какой-то женщины, я поднимаюсь по Верийскому подъему на Головинский проспект. Нас обгоняют драгуны и казаки, а навстречу везут покрытые рогожей тела убитых на демонстрации рабочих...»

Петя Павленко знает: это наших везут, нахаловских. И это тоже приобщается к опыту жизни—борьба требует жертв, страшиться этого нельзя.

Здесь, в «Нахаловке», даже потерпев поражение, люди не предаются отчаянию: стиснув зубы, они готовят оружие для новых боев, не склоняя головы ни перед бедой, ни перед смертью, а тем более перед ненавистным врагом.

Здесь, в рабочих семьях, звание пролетарского борца, честь и будущее революции отцы передают детям по наследству, вместе с заводскими табельными номерами.

Мальчик дышит воздухом пролетарской борьбы, воспитывается на примерах рабочего братства. Здесь, в «Нахаловке», живут рабочие многих национальностей: грузины, русские, армяне, украинцы, азербайджанцы, персы и греки. И все они братья, у всех у них один враг. В этом их сила. И это тоже приобщается к опыту жизни Петра Павленко.

Кем же должен вырасти такой мальчик? Конечно, борцом. Борцом за рабочее дело. Таким, как Горький. Это имя мальчик узнал и полюбил раньше, чем начал читать книги. Одно время Алексей Максимович жил в «Нахаловке», он был здесь своим, близким человеком. Петя Павленко мог запросто зайти к соседям и молча, затаив дыхание, постоять у стола, за которым однажды писал Алексей Максимович. И когда он стоял так, преисполненный любви и уважения к властителю своих дум, вдруг возникала дерзкая мысль, от которой замирало сердце: а что, если самому попробовать! И он пробовал.

О тех первых своих литературных опытах Павленко вспоминал неохотно. Никто так и не узнал, что он писал тогда: прозу, стихи? Сам он однажды, шутя, сказал, что это были всего-навсего рукописи: химико-техническое сочетание бумаги и чернил. Однако в семнадцать лет он рассуждал по другому. Рукописи свои тщательно обрабатывал, относился к ним ревниво и оберегал от критики школьных товарищей. Долго не решался опубликовать свои творения в рукописном гимназическом журнале «Наша нива». Наконец, решился. Правда, ничего из этого не вышло.

Негласным цензором журнала был инспектор гимназии, чиновный господин со множеством орденов на мундире, известный своим презрительным отношением к «кухаркиным детям» или, как он говорил, к «нахаловским дворянам». Петра Павленко вызвали к начальству.

— Я прочитал ваш опус, — без обиняков сказал инспектор. — Стилю недурно, но очень сомневаюсь в том, что вы станете писателем. У вас разрушительный взгляд, молодой человек. С таким взглядом одна дорога — на каторгу.

Возможно, он кое-что понимал в людях, этот чиновный господин. И все же он ошибся: не только разрушителем был юный Павленко, он уже тогда бесповоротно связал свою жизнь с классом, которому выпала историческая судьба разрушить до основания старый мир и построить новый.

И когда двадцатилетний Павленко ушел добровольцем в Красную Армию, и когда год спустя вступал в партию коммунистов, когда пушки вооруженного парохода «Бекетов», где он был комиссаром, вели разрушительный огонь по старому миру, — Петр Павленко уже ясно знал, что надо защищать, за что надо сражаться, и что нужно снести с лица земли.

И еще в одном ошибся инспектор: Павленко стал писателем. Советским писателем. Большой, многогранный и прекрасный мир борьбы за



построение новой жизни вошел в его книги. Поистине необъятна география павленковских произведений. Но странствуя вместе со своими героями по обширной нашей земле, по зарубежным странам Запада и Востока, писатель никогда не забывал о своей второй Родине, о милой его сердцу Грузии. Он всегда много писал о ней с неиссякаемой любовью и нежностью, но с наибольшей силой выразил он это свое глубокое, врожденное чувство в рассказе «Ночь в Гелати»<sup>1</sup>. Лишь только сыновняя, братская любовь и преданность могли породить эти волнующие строки о древней грузинской земле.

«А что, если бы действительно опасность угрожала этому монастырю? Что бы я тогда делал? Не раз и не два ударил бы я тогда в колокол, чтобы разбудить долину и созвать людей на этот высокий горный гребень.

Мы защищали бы его с мужеством, которого требует история Гелати.

...Есть в лунной грузинской ночи нечто такое, что навеки вошло в русскую душу и неотделимо от нее. В темной дали времен началось наше родство, оно крепло в общей борьбе, оно предстало в нашей поэзии, в нашей музыке, обогатив нашу душу тончайшими оттенками радости и восторга.

...Нет, в любую тревожную ночь я не оставил бы одинокой Гелатской горы.

...Мы в самом деле умерли бы на горе Гелати, защищая ее».

Слова эти Павленко написал еще до войны. А когда над Грузией нависла опасность, он, как и следовало ожидать, оказался на Закавказском фронте. С каким уважением, с какой гордостью писал тогда военный корреспондент Петр Павленко о тех, кто насмерть стоял на заснеженных перевалах Кавказа, отстаивая братскую Грузию с мужеством, которого требовала от каждого своего защитника история этой страны.

И после войны Петр Андреевич несколько раз приезжал в Грузию. Но, странное дело: о Тбилиси, о городе своей молодости Павленко еще ни строки не написал. Вот только лишь сегодня он впервые заговорил о тбилисском романе. Ну что ж, в этом есть своя закономерность: почти все писатели создавали произведения о своей юности уже в зрелые годы. Наверное, и у Павленко так. А может, у него и другие причины. Почему-то не решаюсь спросить об этом Петра Андреевича, очень уж это личное дело. Спрашиваю только:

— Когда же появится этот ваш тбилисский роман?

Он почему-то вздохнул.

— Об этом рано говорить. Сам не знаю, когда сяду за него.

Он сказал мне, что еще не закончен роман о Крыме и что еще очень не ясно, сколько времени потребует эта работа. Затем на очереди повесть о Великом рядовом. О войне-гражданине. «Эту работу тоже нельзя откладывать. Мы все в неоплатном долгу перед нашей армией. Ведь она нас вырастила, воспитала и сделала писателями». Еще была в плане повесть о горцах Дагестана. Она, как мне кажется, к тому времени была уже написана. Но Петр Андреевич говорил о ней так, будто только-только собирался приступить к ее написанию.

Я давно заметил в нем эту черту: говорить о своих произведениях, в том числе и о напечатанных, известных читателю, так, словно они существуют лишь в его писательском воображении. Он как-то прямо сказал мне, что все, сделанное им раньше, все, что осталось позади, он считает сделанным как бы вчерне, что хочется все начать заново, вот с этого дня, с этого часа, с этой первой еще чистой страницы, с этого неуловимого,

<sup>1</sup> Гелати — замечательный памятник грузинского зодчества, древний монастырь возле Кутаиси.



пока еще не найденного, самого нужного слова. О задуманных, еще не написанных книгах он всегда рассказывал увлеченно, горячо, видимо, проверяя на слушателях и самый замысел и отдельные его детали. А задумано было много.

— Скажите мне откровенно, капитан. Не кажется ли вам, что я за многое хватаюсь? Так можно упустить самое важное. Ту единственную книгу... Понимаете?

— По-моему, это хорошо, когда писатель богат замыслами.

— Теоретически верно, — усмехнулся Павленко. — Но вы так говорите, дорогой капитан, потому что, слава богу, никогда не болели чахоткой. А когда она привяжется к человеку, проклятая... Так и быть, расскажу вам один случай, это из «секретных» моих переживаний. В последний мой приезд в Тбилиси я еще на аэродроме почувствовал себя плохо: знобит, то в холод бросает, то в жар, и дышу, словно продырявленный кузнечный мех. Еле добрался до госпиталя. Сделали мне там, что нужно, и заявили категорически: придется вам, товарищ полковник, денька на три задержаться у нас.

Переодели меня в госпитальную одежду и ведут по коридору. Дежурный врач предупреждает:

— Сосед ваш тяжело болен. У него рак. Сам он, конечно, этого не знает. Так что прошу вас: пожалуйста, никаких разговоров о болезнях.

Я обещал. Вхожу в палату. Она двухкочная, светлая, окно выходит в сад. На той койке, что у окна, сидит человек лет пятидесяти — седые волосы коротко острижены, длинные, пшеничного цвета, усы основательно обкурены, а на лице густой такой многолетний загар, какой бывает только у старых воинов. Я подумал: либо это генерал из солдат, либо старшина из «вечных». Оказалось — старшина. Оставили нас вдвоем. Ох, до чего же мне неловко было с ним в первые минуты. Что-то говорю, пробую даже шутить. Да какие же тут могут быть шутки? Человек обречен на смерть. Не склеился наш разговор. Лег я отдыхать и вскоре уснул. Разбудил меня стук в дверь. Появился молоденький солдатик. Бравый, каблуками щелкает, козыряет лихо, а сразу видно — новобранец. И гимнастерка на нем новенькая, не обмятая, мешком сидит. И сам он тоже весь новенький, не обмятый. Старшина даже поморщился. Доложил солдат — выяснилось, что он посыльный от командира роты. Тот собирался навестить больного, да назначили в наряд. Посыльному приказано выяснить, как себя чувствует товарищ старшина и в чем нуждается.

— У меня все в порядке, — сказал старшина. — А в роте как?

— В роте у нас все отлично, товарищ старшина, — бойко отрапортовал солдат.

— Ой ли? — усомнился старшина. — Смотрю я на вас и не вижу, что все отлично. Но не будем товарищу мешать, пойдем в коридор, расскажите, как там у вас.

Вернулся старшина через полчаса мрачный, расстроенный. Походил по комнате, повздыхал, затем присел на табурет у моей койки.

— Эх, не вовремя я заболел, товарищ полковник.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Нет, так будто ничего. Только вот молодое пополнение пришло. Сами видели — ни выправки, ни подхода, ни вида солдатского. Зелено. Очень зелено. Им сейчас старшинская наука — во как нужна. А я, как на зло, здесь.

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Вы себе лечитесь, а их пока другие поучат.

Он посмотрел на меня неодобрительно, даже рукой махнул: мол,



оставь ты эти утешительные сказочки, батенька. Но, помолчав немного, сказал:

— Оно-то так. И без меня поучат. Рота у нас не беспризорная. Но такая уж у старшин доля: как молодое пополнение придет, покой теряешь, тревожишься, ночей не спишь. Вы с какого года в армии, товарищ полковник? А я на год раньше вашего пришел. В восемнадцатом. И с тех пор в строю. В тридцать восьмом уволился было в запас. Проработал год у себя на родине в райисполкоме, — не выдержал, потянуло обратно в армию. Конечно, тут и привычка сказалась. Но, главное, — почуяло мое сердце: не сегодня-завтра придется нам воевать. Тут уж прохлаждаться нельзя. Собрался я, значит, оформился и вместе с призывниками, осенью это было, приехал в свою часть. И знаете, сразу как-то успокоился: ну вот, и порядок, думаю, подучу ребятишек, а когда прикажет нарком, пойду рядом с ними в бой. Так оно вернее будет.

— И пошли? — спросил я.

— Конечно, пошел.

— Что ж, повоевали, отдохнуть пора.

— Отдохнуть! — он невесело усмехнулся. — Добрый вы человек, товарищ полковник. И врачи добрые — то же самое говорят. Они меня обманывают, а я их. Делаю вид, что ничего о своем положении не знаю. Держусь, потому что негоже старому солдату за шкуру свою бояться. Конец, так конец. Пожил я немало и все повидал: и хорошее и плохое. Вот только за молодых тревожно. А вдруг опять война. Вдруг грянет — этот наш последний и решительный... Кому, как не нам, вести тогда в бой сыновей своих. Молодому солдату на фронте, сами знаете, товарищ полковник, легко по неопытности в ошибку впасть. А за ошибки на войне расплачиваются кровью, жизнью, а то и победой. А коли пойдет рядом с молодежью опытный вояка, глядишь, и ошибок меньше, и крови меньше и верней победа. Вот и обидно, до слез обидно, что придется унести в могилу свой опыт. И какой опыт! Что ни говори, две войны я поломал. Это же не шутка.

Разворошил мою душу этим своим разговором старшина. Всю ночь я глаз не сомкнул. Впервые по-настоящему испугался я своей чахотки. Страшно стало: задушит, проклятая, а я еще не написал ту главную свою книгу, о которой каждый из нас мечтает всю жизнь. Понимаете, самую главную! А все потому, что плохо жил: растопыренно, жадно, расточительно. Жил так, будто впереди у меня еще три жизни, и все успеется. Нет, думаю, баста! Пусть только пощадит меня чахотка. Пусть даст хотя бы отсрочку. День и ночь буду писать ее — самую любимую, самую желанную. Буду писать ее так, будто это самая первая моя и самая последняя книга. Всего себя отдам ей, без остатка.

Никогда я еще так ясно не видел ее, эту свою будущую книгу, как в ту ночь. И знаете, от кого пришла эта ясность? От старшины. В его облике я увидел ее облик, в его характере — увидел ее характер, а его главная жизненная задача определилась, как и ее главная жизненная задача. Вот с той ночи она и живет в моем сознании как книга-старшина. Не улыбайтесь, дружище! Была же у нас в Отечественную книга-комиссар<sup>1</sup>. А моя пусть старшиной будет. С такой же верной и беспокойной старшинской душой, такой же необходимой молодым солдатам, когда они пойдут за

---

<sup>1</sup> П. Павленко имел в виду роман Н. Островского «Как закалялась сталь», который он очень высоко ценил. Однажды на фронте в беседе с товарищами Петр Андреевич сказал: «Завидная, славная жизнь у этой книги. Посмотрите, как здорово она сейчас воюет! Как ударный коммунистический полк, при развернутом Знамени. И всегда впереди».



дело коммунизма в наш последний и решительный... Скажете, дерзко задумано? Но кому мы, робкие, нужны? Грош нам цена, робким.

Требовательный гудок теплохода прервал нашу беседу.

— Теперь вам надо идти, — сказал Петр Андреевич. Он пошел провожать меня.

Очень красива была Ялта в тот день.

— Правда, прекрасный край? — спросил Павленко. — А поработаем, приложим руки, он еще прекраснее станет. Вот увидите.

Были еще и другие — в Тбилиси и в Москве — встречи с Павленко. И каждый раз Петр Андреевич настойчиво звал меня в Крым, к его людям.

— Удивительный там народ собрался, — говорил Павленко, — с кем ни встретишься, — перед тобой готовый герой романа, повести, рассказа. Только поспевай — пиши.

В феврале пятьдесят первого года я получил от Петра Андреевича письмо, в котором были такие строки:

«...Приезжайте летом в отпуск, поедem по трассе Крымского канала, вспомним места сражений. Отличные рассказы можно написать, начав с картины боя и кончая рытьем канала и нечаянно вырытыми костями погибших. Я вас уверяю — через две недели после такой поездки вы родите великолепный рассказ».

В этих словах я увидел не только маршрут нашей будущей совместной поездки, но и тему — волнующую и поэтичную.

### III

На трассу будущего Северо-Крымского канала я смог поехать только летом 1952 года.

Петра Андреевича уже не было в живых.

Мне было так нестерпимо больно ездить по павленковскому маршруту без Павленко, что вначале я даже пожалел об этой своей затее. Но через несколько дней боль эта утихла, а печаль о навсегда ушедшем друге сменилась гордостью за него.

...Из Джанкоя я поехал на попутной машине разыскивать лагерь геологов-изыскателей, с которыми мне советовали познакомиться. Адрес мне дали весьма неопределенный: где-то в степи под Перекопом.

Выбрался я из Джанкоя поздно, почти в полдень, и попал в настоящее пекло. Спасения от жары не было.

Ехали проселком, и наша полуторка, изнемогая, волокла за собой тяжелый хвост пыли длиной в полкилометра. Местами пыль над проселком стояла сплошной стеной: это шли колонны самосвалов с буквой «К» — эмблемой канала.

Все машины на дороге двигались с одинаковой скоростью. Автоинспекцией обгон здесь не воспрещался. Но попробуй обогнать — задыхнешься в пыли. И все же дорожная пыль — это не самое страшное. Страшнее — жажда. Последние годы я жил в городе, где на каждом перекрестке можно выпить газированную воду с вкуснейшим сиропом. А здесь, в степи, от колодца до колодца десятки километров. Всем своим существом хочу только одного — пить. Стараюсь не думать об этом, но, как на зло, память подсказывает нелепо-патетическую фразу: «Полжизни за глоток воды». Злюсь еще больше, но фраза эта уже прицепилась ко мне, как репейник, — не отвяжешься. Пересохшие, покрытые какой-то липкой коркой губы шепчут ее, как заклинание. Высунувшись из кабины, жадно дышу встречным воздухом, может, это хоть немного освежит. Напрасная мечта! Ощущение, примерно, такое, будто глотаешь невидимый огонь.

Дорога приводит в переселенческий поселок. Шлакобетонные стан-



дартные домики выстроились в два ряда. Вдоль улицы молоденькие за-рошенные пылью акации.

— Вода? — спрашиваю шофера.

— Вода, — улыбаясь, отвечает он. Вижу, что и его истомила жажда.

Колхозный колодец — на северной окраине поселка. Под фанерным навесом весело качает воду маленький дизелек-«андижанец». Вода льется из трубы в длинную деревянную колоду нескончаемой, прозрачной, как будто стеклянной, струей. Час водопоя. Колоду с двух сторон тесно обступили волю — огромные палевого цвета степные работяги. Чуть поодаль, на затоптанной лужайке сгрудились овцы. Меня поразила их терпеливость. Вода совсем близко, рядом, а они покорно ждут своей очереди. Спокойно ждет своей очереди и старый облезлый верблюд, которого здесь все дружески кличут Костей. Его привел на водопой босоногий мальчик в негнущихся штанах из брезента. Некоторое время Костя смотрит на пьющих волов, на то, как раздуваются и округляются, наливаясь водой, их животы, и, отвернувшись, презрительно шевелит обвисшими шершавыми губами. Кажется, что вот-вот он скажет: «А это что за уроды?» Протискиваюсь между двумя неподвижными, горячими воловьими тушами и припадаю сожженным ртом к упругой ледяной струе. Ее не так легко утолить, мою жажду.

— Хватит вам, — говорит колодезный моторист. — Мне не жалко, только обопьетесь.

С трудом отрываюсь от воды.

— Вкусная? — спрашивает моторист.

Киваю головой. Говорить я еще не в силах.

— Еще бы! — подтверждает моторист. — Вкусней всякого лимонада. Павленковская!

— Павленковская?

Он оказался словоохотливым человеком — этот радушный хозяин чудесной воды. Да и почему не поговорить с проезжим, когда в хозяйстве у тебя все налажено, все нормально.

— ...Сначала переселенцы брали воду из копаного двенадцатиметрового колодца. Вода была невкусной, горькой. Скотина, и та ею брезговала. А люди... Народ у нас приезжий, к земле здешней еще никто не прирос. Переселенец — человек, у которого, что ни говори, корневая система нарушена. Такому сняться с ненасиженного места ничего не стоит. Сегодня один уехал, завтра — другой. Распадается колхоз. По плану нам артезиан должны были пробить. Да видно в плане том неувязка вышла. Срок назначен такой, что ждать и терпеть надо еще года два. А терпению конец пришел. Дышим на ладан. Спасибо, кто-то надоумил послать телеграмму нашему депутату Павленко. Приехал он через десять дней. «Извините, говорит, за опоздание, болел». А мы сами видим — нездоров товарищ: под глазами мешки, губы белые, ни кровинки, и взгляд невеселый. Ну, думаем, без сил человек, чем он нам поможет? А помог, и еще как! В первый же день выхлопотал автоцистерну, чтоб возить питьевую воду со станции. Потом посадил в свою машину нашего преда и махнул в Симферополь воевать за артезиан. И что вы думаете, отвоевал! Прислали нам колодезных мастеров, технику нагнали, начали бурить землю. До самого нутра ее добрались, а воду достали. Вот эту самую, что вы пили. Светлую, сладкую, одним словом, павленковскую. А сам он, наш депутат, не дождался ее. Обещал приехать отпраздновать с нами такую победу, да смерть помешала.

— Обидно, — сказал я.

— Обидно, — вздохнув, согласился моторист. — Но, что поделаешь, все мы там будем. Только я так размышляю, дорогой товарищ: прежде



чем помереть, пусть каждый оставит тут, в степу, вот такую водяную памятку. Тогда такая веселая жизнь здесь развернется... А вы как думаете?

Я кивнул головой в знак согласия.

Шофер посигналил мне из машины. Я сел в кабинку. Верблюд уже напился и теперь, вытянув шею, пристально вглядывался в степь, над которой причудливо колыхалось марево.

В этот день я так и не нашел геологов. Они переменили стоянку и нового адреса никому не оставили. Заночевал я в чабанской кошаре у самого берега Сиваша. И здесь тоже неожиданно обнаружил след Петра Павленко. У одного из чабанов оказался изданный в Симферополе сборник рассказов Петра Андреевича с дарственной надписью. Книга была основательно зачитана, потрепана, но надпись сохранилась хорошо. Она была короткой: «Дорогому земляку Ивану Сергеевичу Афанасьеву». Дата и ясная павленковская надпись без завитушек. Я спросил чабана, при каких обстоятельствах писатель подарил ему свою книгу. Но Афанасьев почему-то не пожелал распространяться об этом: он молча отрезал от лежавшей на столе буханки аппетитную горбушку, густо посолил ее и ушел из кошары. Напарник Афанасьева — чернявый, бойкий паренек, с улыбкой посмотрел ему вслед:

— Переживает!

Паренек этот и рассказал мне о встрече Афанасьева с Павленко.

— Однажды, под вечер, заходит к нам в кошару средних лет человек в очках. «Это писатель Павленко, — сказал приехавший с ним председатель колхоза. — Он хочет написать о вас в газету».

Разговорились мы с писателем о нашей чабанской жизни. А она, если знаете, не легкая. Круглый год чабан в степи. И в холод, и в жару, и дождь его мочит, и морозным ветром обжигает. Всего, следовательно, вдоволь. А тут еще разные недостатки. И того нема, и этого нема. Выложили мы Павленко свои обиды, и просим: пропишите, да покрепче. Он обещал. «Обязательно, — говорит, — пропишу». А Иван Сергеевич не поверил. «Ничего, — говорит, — вы не напишете». «Это почему?» — удивился Павленко. «Знаю, как вы все пишете, — говорит Иван Сергеевич. — Набрехали в нашей районной газете про эти места, а мы, лопаухие, поверили — рай...». «Значит, читаете газеты?» — спросил писатель. «Смотреть на них не желаю». Тут председатель вмешался: «Да никогда он их не читает, малограмотный он у нас».

«Это не беда. Грамоте можно научиться», — говорит Павленко.

А Ивана Сергеевича словно скипидаром смазали. Даже трясется весь от злости, кричит: «Сами учитесь, а я ученый, сто раз в крови и поту моченый!»

Хлопнул дверью — и в степь, в отару свою.

Очень нам неловко стало перед писателем. Мы-то Ивана Сергеевича знаем, а что подумает Павленко? А человек Иван Сергеевич, если разобраться, не плохой. В работе честный, товарища зря не обидит, поделчивый и военные заслуги имеет. Только очень уж на Крым сердитый. Похоже, когда агитировали переселяться сюда, какой-то брехунец расписал ему молочные реки среди кисельных берегов. А на поверку и обычной речки не оказалось. Вот и осерчал человек. Пробовали и мы его по-своему агитнуть. Какой там! Отбрыкивается. «Отвяжитесь, ребята, все равно уеду». Видим — неприступный мужик, махнули на него рукой.

Рассказали мы об этих фактах писателю, а я еще добавил в наше оправдание: «Бросьте вы этого человека, товарищ Павленко, он для нас уже, как отрезанный ломоть». Посмотрели бы вы, как рассердился Павленко: «Что это значит: бросить человека! И какой он вам отрезанный ло-



мочь!» Не стал с нами больше разговаривать. Пошел к Ивану Сергеевичу в отару. Часа два они там с глазу на глаз беседовали. О чем? Не знаю. Только, видать, трудный был разговор, потому что вернулся писатель хмурый и такой измотанный, будто все это время пятипудовые чувалы с зерном таскал. И сразу, знаете, заторопился, пора, говорит, ехать. А когда сел в машину, вспомнил что-то, усмехнулся, достал свою книгу, надпись сделал и велел передать Ивану Сергеевичу. «Скажите, что будет время, опять к нему в гости приеду». Да вот не приехал. А Иван Сергеевич, как видите, остался здесь, в степи. И Крым больше не порочит. Ругать, конечно, поругивает, но без злости, по-хозяйски.

В те дни я немало поколесил по степи. И может, потому, что я сам хотел этого, всюду мне рассказывали о Павленко...

Много волнующего, незабываемого повидал я тогда в Крыму. А главное — познакомился с замечательными людьми. Это к ним всегда так настойчиво и горячо звал меня Павленко. Это его и мои земляки: райкомовцы, хлеборобы, чабаны, садоводы, колодезные мастера, виноградари, трактористы, изыскатели Северо-Крымского канала, пчеловоды, агрономы, шоферы, зоотехники, сельские киномеханики и библиотекари — любимые герои павленковских книг, и тех, что он успел написать, и тех, что запланировал на полсотню лет вперед.

Все, что мне довелось видеть и слышать в те дни, я подробно записывал в путевой дневник. Немало страниц в нем было по праву отведено Павленко. Писатель, партийный работник, народный депутат — в моем представлении он неотделим от своих земляков — строителей нового Крыма. Да и дневник этот родился благодаря Петру Андреевичу. Я так и озаглавил его: «Павленковский маршрут». И это, по-моему, вполне справедливо.

К концу поездки записей в дневнике накопилось много — с избытком хватило бы на книгу. Конечно, я понимал: до книги еще далеко. Для этого нужно время, нужен упорный труд. Но это меня не пугало: напишу, обязательно напишу. А когда я уже собирался покинуть Крым, одно важное обстоятельство окончательно утвердило меня в этом решении.

#### IV

В тот день я поехал в степь с литработником районной газеты Алешей Коноваловым. Всю ночь шел дождь и о попутной машине нечего было думать. Проезжей была только автомагистраль, а нам нужно было попасть в глубинку, на один из хуторов каракулеводческого совхоза.

Алеша раздобыл в райисполкоме двухколесный экипаж — «бидарку», в которую был запряжен отставной военный конь Салют, и мы двинулись в путь.

Хороша степь, омытая добрым летним дождем! Пожухлые, поникшие травы выпрямились и помолодели, зеленый цвет жизни вновь восторжествовал над желтизной умирания, а воздухом, очищенным грозой, — не надышишься.

Мой спутник и возница Алеша Коновалов — поэт. Я знавал его еще до войны. Тогда это был застенчивый, необщительный мальчик, страстный книголюб. Все свободное время он проводил в читальне. Сейчас рядом со мной в тесном кузовке «бидарки» сидел бывалый солдат, прошедший с боями пол-Европы, с кривым багровым рубцом во всю щеку — от виска до подбородка. Поэтом сделала Алешу война. Он начал ее в горах Крыма шестнадцатилетним подростком и первую стихотворную строфу сочинил в партизанской засаде.



Алеша Коновалов вернулся домой в сорок шестом из Берлина лейтенантом запаса, с орденами и медалями на груди и вместе с другими документами предъявил в райкоме партии свои стихи, напечатанные в армейских газетах. Это и решило его судьбу. Райком направил Алешу в редакцию местной газеты. Алешу это обрадовало, а редактора — не очень. Редакции нужен был человек, умеющий написать дельную статью о силосе, о молочной ферме, о работе комбайнеров и трактористов. К стихам о любви, звездах и луне, а предполагалось, что только этим и захочет заниматься поэт, редактор никакой симпатии не испытывал. Нового сотрудника послали в колхоз, ничего хорошего от этого не ожидая. Через несколько дней Алеша привез обстоятельную статью о делах одной виноградарской бригады. Редактор успокоился, и все пошло, как надо. Своего редактора Алеша поэзией не беспокоил. А мне всю дорогу по старой дружбе читал стихи и горько жаловался:

— Понимаете, столько нужно сказать, а язык не слушается.

Возвращались мы с хутора после полудня. Проселок уже подсох, и нам то и дело приходилось уступать дорогу тяжело груженным автомашинам. У белого мостика, перекинутого через овражек, стояла на трех колесах и домкрате дряхлая полуторка. Шофер, белобрысый паренек лет девятнадцати, в почерневшей от пота голубой футболке, присев на корточки, разглядывал заплатанную во многих местах камеру.

— Загораешь? — спросил Алеша, придерживая коня.

— Загораю, — сердито ответил шофер и бросил отслужившую камеру в кузов машины. — Воздуха много, а ехать, выходит, не на чем.

— Сочувствую, но ничем не могу помочь.

Шофер улыбнулся:

— И за это спасибо, земляк. Сам вижу — твои колеса мне ни к чему. Потерплю, может, кто выручит.

— Земляк, — задумчиво проговорил Алеша, когда мы проехали мостик. — Слыхали, как он «окает», видать, волжанин. Сейчас в нашу степь на строительство канала со всего союза народ слетелся. Вчера в Джанкое узбека встретил. Крепкий хлопец. И, видать, работник — что надо. Я ему: «Здравствуй, друг!», а он мне: «Здравствуй, земляк!» И больше по-русски ни слова не знает. — Алеша рассмеялся. — Хорошее это слово, теплое. Я вот даже стихотворение про него задумал. Понимаете, иду я по парижским улицам, не теперь, конечно, а при коммунизме. Подхожу к первому встречному парижанину и говорю: «Дай прикурить, земляк». А он мне отвечает: «Пожалуйста, землячок, прикуривай». Задумал, да все никак не напишу. Некогда. Летом у нас тут не до стихов. Недаром говорят: страдная пора. А ну, шевелись! — прикрикнул он на коня. Но Салют даже ухом не повел.

— Перекусим, — предложил Алеша, — и коню дадим отдохнуть.

Мы съехали с дороги. У подножья невысокого кургана Алеша распряг коня и, спутав ему ноги, легонько стукнул ладонью по крупу:

— Иди, Салют.

Арбуз, который нам подарили на колхозном баштане, оказался превосходным.

— Мне как-то на фронте под Варшавой вот такой арбуз приснился. Так я, поверите, три дня с плохим настроением ходил. Тоска. Все о Крыме вспоминал, — сказал Алеша, задумался на мгновение и решительно достал из планшетки тетрадь. — Вы отдыхайте, а я должен заметку написать в завтрашний номер.

Лежа на траве, я курил и искоса поглядывал на Алешу. Я был уверен, что он, конечно, не заметку пишет, а стихи. Интересно, о чем? Может, о степном арбузе, который приснился ему однажды в промерзлом окопе



где-то под Варшавой, может, о парижском своем земляке. А может?.. Да мало ли что может вдохновить поэта здесь, в степи, где все так величаво и прекрасно. Только вот мешать ему не следует. Его явно тревожит мое подглядывание. И я, чтобы не мешать Алеше, поднялся на вершину кургана. Прямо передо мной лежали два небольших степных озера. Они были разного цвета: одно светло-серое, и трава вокруг него росла седая; другое — рубиновое, и трава вокруг него была красная с фиолетовым оттенком. Такие озера нередко встречаются в присивашье, но что-то во всем облике этой местности показалось мне очень и очень знакомым. Но что?

— Алеша, — позвал я. — Поди сюда.

Он неохотно оторвался от работы и поднялся ко мне.

— Ты не помнишь, Алеша, что здесь было до войны?

Алеша пожал плечами.

— Ты хорошо подумай, — настаивал я.

И он вспомнил.

— Памятник здесь стоял на кургане. Да, да, это точно. Древний такой трактор на высоких колесах...

— Куда же он делся, Алеша?

— Наверное, немцы увезли. Они здесь повсюду металл собирали и эшелонами — в Германию.

— А кому это был памятник, помнишь?

— Не помню. Понятно, герою. Но кому? А вы знаете?

Я знал. Пожалуй, я был теперь одним из немногих, кто знал человека, которому когда-то был поставлен здесь, в степи памятник-трактор.

Меня охватило глубокое волнение. Даже почудилось, будто слышу я глуховатый голос Павленко: «Вот и хорошо, что вы сюда пришли. Ну, разве не грешно, что богатырь, похороненный тут, на кургане, никем еще не воспет и не описан. За работу, товарищ! Немедля за работу! Пишите! А не напишете — я сам о нем напишу. Он был славным боевым товарищем — этот наш земляк и единомышленник... Давно ищу я для одной своей новой книги такого героя».

Стискиваю зубы — больно это, страшно больно, что нет уже с нами Петра Андреевича. Он пал в борьбе, как падает сраженный пулей, идущий в атаку солдат, — лицом к огню, не выпуская из рук оружия.

«Спасибо, Петр Андреевич, — думаю я. — Спасибо вам, дорогой друг, за то, что добрый ваш маршрут привел меня к могиле человека, о жизни и подвиге которого я уже давно, по долгу сердца, обязан был рассказать людям».

## V

Звали этого человека Джо. Джо Дэвис — это я хорошо, на всю жизнь, запомнил, хотя мне было всего восемь лет, когда я с ним познакомился.

С кургана, на котором мы стоим сейчас с Алешей Коноваловым, видны черепичные крыши Джанкоя. Там, на одной из тихих улиц, в маленьком «калыбном» доме, родился я незадолго перед первой мировой войной. Мне было чуть более года, а сестренке полтора месяца, когда отца одели в солдатскую шинель и угнали на западный фронт. Некоторое время мы жили втроем: мама, сестренка и я. Потом приехала из Геническа бабушка — строгая, ничего не прощающая и очень набожная. Бабушка наказывала меня за любую шалость. Шлепает, бывало, и приговаривает:

— И тебе не стыдно, родной отец твой страдает и мучается в окопах, а ты, негодяй, разбил блюдце.

Она так страшно рассказывала о том, как страдает мой отец, пока



я здесь бездельничаю и шалю, что я начинал считать себя закоренелым преступником, и горькие слезы раскаяния тотчас же выступали у меня на глазах.

Вскоре мама взяла меня с собой в имение богатой степной помещицы фрау Фогель, куда ее позвали работать. Помещичий дом поразил меня своими огромными размерами, убранством, коврами, картинами в золочёных рамах. Ничего подобного я никогда не видел, и меня охватило предчувствие какого-то необыкновенного счастья. Мне казалось, что вот, сделаю еще один шаг, и кто-то ласковый, добрый скажет: все это для тебя, мальчик, живи, радуйся.

Как горько и обидно разочаровался я ровно через минуту.

— Пойдемте, я доложу, — сказала маме горничная.

Мы остановились в коридоре перед какой-то дверью, и горничная, приоткрыв ее, сказала:

— Простите, фрау. Приехала белошвейка. Та самая.

И из темной глубины комнаты послышался голос фрау:

— Хорошо. Отведите ее на черную кухню. Пусть пообедает.

— Простите, фрау, — сказала горничная. — Но она не одна. С нею мальчик.

— Это еще что такое! Скажите ей, Лизхен, что у меня не богадельня. Я не могу кормить лишнего человека.

Мы идем по коридору, спускаемся по какой-то лестнице. Закоулок, еще закоулок, меняются запахи, исчезают картины, ковры. И пусть исчезают. Теперь я знаю: они не для меня.

— Мама, — спрашиваю я, — почему она так? Ты же белая швейка. А тебя на черную кухню?

— Молчи, маленький.

Но я не унимаюсь:

— Мама, почему она сказала, что я лишний человек?

— Молчи, ради бога.

Мама работает в небольшой комнате с одним окном. У окна стоит швейная машина «Зингер», у стены железная койка, на которой мы спим. Я почти никуда не выхожу из комнаты. Даже к окну меня не тянет. Оно выходит на черный двор. Все черное: черная половина дома, черная кухня, черный двор, черная баня — это для нас. Все белое — для фрау.

Я часами лежу на койке. Маму это беспокоит. Она прижимается губами к моему лбу: нет ли жара. Но я здоров. Я еще очень мал и ничего не могу объяснить маме.

— Иди, побегай по двору, сынок, — ласково говорит она.

Нет, нет! Я судорожно цепляюсь за добрые мамины руки, так страшно мне выйти во двор. Там бродят огромные лохматые псы-волкодавы. У них острые зеленоватые клыки и беспощадные голодные глаза. И еще там ходит злой индюк и голосом таким же резким и противным, как у фрау, все грозит и грозит кому-то. Наверное, мне. Кому же еще! Но больше всего я боюсь фрау. Я для нее лишний человек, и она-то уж обязательно сживет меня со света. Чужой и враждебный мне мир. И в нем мама, единственная моя защитница, хотя я уже смутно догадывался, что сама она не меньше моего нуждается в защите и поддержке. Я вижу, как гнется она под непосильной работой, как изнуряет ее недоедание; ей ведь все приходится делить со мной: и тарелку кондера, и кружку припса — горького ячменного кофе, разбавленного снятым молоком. Я здесь лишний человек, мне ничего не положено.

— Мамочка, уедем отсюда, — прошу я.



— Нельзя, сынок. Я должна работать, иначе мы умрем с голоду. Вот, когда вернется наш папа...

— А когда он вернется?

— Скоро, сынуля, скоро.

«Скоро, скоро...». Сначала я верил этому слову, но шли годы, и я проникался к нему жгучей, недетской ненавистью.

Шесть лет мы ждали отца. Шесть лет он шел к нам запутанными дорогами войны, где было все: и кровавые раны, и германский плен, и тифозные бараки, и каждый день — бой не на жизнь, а на смерть, и, наконец, Перекоп — последняя преграда у самого порога родного дома.

Однажды ночью мама разбудила меня и сестренку:

— Слышите, пушки грохочут? Это на Перекопе.

Дети военного времени, мы уже не раз слышали, как грохочут пушки, но эти грохотали по-особому, и сестренка вдруг захлопала в ладоши и сказала:

— Это папка наш идет!

С той ночи началась для меня новая, необыкновенно напряженная жизнь — я весь превратился в сплошное ожидание. День сегодняшний уже не имел для меня никакого значения, он тяготил своей обыденностью, я старался скорей его прожить, потому что завтрашний обещал чудо из чудес — придет отец!

По вечерам я и мой дружок Петька Шестаков взбирались на сложенную за нашим домом скирду и подолгу смотрели в сторону Перекопа. В небе над ним полыхало багровое зарево. Мы вслушивались в неумолчный шум перекопской битвы и тревожились каждый за своего родного человека — я за отца, Петька — за дедушку своего, Степана Ильича. Петькиного дедушку — дрогалия беляки на днях погнало с подводой и конями к Перекопу возить снаряды.

Мальчишки, мы тогда еще не умели по-мужски скрывать свое горе, свою тоску, свою душевную маяту. И когда Петька горестно вздохнул, лежа рядом со мной на макушке скирды, я грубовато сказал ему:

— А ты нюни не распускай, тюха-матюха.

— Тебе хорошо, у тебя батька солдат, — возразил Петька. — А дед у меня хворый, неповоротливый. И кони у нас старые. Убьют деда, что я тогда буду делать?

Тут уж и я растерялся. Петька — круглый сирота, кроме деда, нет у него никого.

— Не бойся, — сказал я ему. — Ничего с твоим дедом не случится. А мой папка на что? Выручит он твоего деда. Я тебе дело говорю, обязательно выручит.

Петька снова вздохнул, значит, не поверил.

— Тебе легко говорить: выручит... А как выручит? Сам подумай. Твой батька где? По ту сторону Перекопа. А дед мой где? По эту. А Перекоп, это знаешь что? Это такая канава, пять верст в глубину, пять в ширину. Накажи меня бог, если я тебе неправду говорю. Самая большая канава на свете. Великолюди ее когда-то вырыли. Были такие силачи. Каждый с вокзальную водокачку, а руки, как телеграфные столбы. Мне дед рассказывал, а он никогда не врет. Обыкновенному человеку эту канаву в жисть не перейти. Ни за что.

— А мой батя перейдет, — убежденно сказал я. — Он, знаешь, какой! Он не меньше, чем те великолюди, — добавил я и тотчас же сам уверовал в это. Хорошо, что я так горячо верил в отцовскую силу и могущество. Может, эта наивная детская вера и помогла ему перешагнуть через Перекоп живым и невредимым. Может быть.

Утро шестнадцатого ноября двадцатого года было, наверное, самым



счастливым в моем раннем детстве. Свершилось долгожданное. Отворилась дверь, и вошел отец. Мать заплакала, засмеялась и повисла у него на шее. А он, смущенно улыбаясь, гладил ее худенькие плечи и уже тянулся глазами к нам. Еще мгновение — и мы с сестренкой очутились в его объятиях и, кажется, отец заплакал. Хорошо помню, когда я прижался губами к его щеке, она была соленой.

Больше всего меня беспокоило, что отец не раздевается. Неужели он опять уйдет от нас? Он шагал по комнате, а я, широко открыв глаза, все смотрел и смотрел на него и никак не мог насмотреться. И хотя он был невысокого роста, и шинель на нем была старенькая, потрепанная, заляпанная осенней грязью, я нисколько в нем не разочаровался. Он и сейчас казался мне таким же, каким я его себе представлял, — сильным, могучим, богатырем из племени великолюдей. Только стал он как-то ближе и родней, потому что щеки мои горели от прикосновения к его жесткой бороде, потому что можно было притронуться к нему, можно было прижаться головой к его груди и убедиться: это не сон, не сказка, не мечта — это мой отец.

Он пробыл тогда с нами не больше часа. Вошел какой-то человек, звякнул шпорами, козырнул и сказал:

— Товарищ командир, кони у ворот!

Отец посмотрел на часы, вздохнул, обещал к вечеру вернуться и сказал матери, что, если понадобится, пусть она его ищет на вокзале. Полдня я угрюмо наблюдал за тем, как повеселевшая мать убирает комнату, месит тесто и готовит что-то к приходу отца. Как она могла так спокойно ждать его, не знаю. А у меня не было на это сил. Как только мать вышла зачем-то к соседям, я схватил шапку и был таков.

Пока я дошел до вокзала, босые ноги мои посинели от холода. Ботинки еще весной пришлось отдать сестренке — я вырос из них. Найти отца на вокзале мне не удалось. Я немного погрелся в переполненном зале первого класса и вышел на перрон. Там у зеленого вагона, стоявшего на первом пути, столпился народ: красноармейцы, жители Джанкоя и множество знакомых и незнакомых мне мальчишек и девчонок. На ступеньках вагона стоял коренастый, немолодой командир в шинели, перетянутой ремнями, в краснозвездной буденовке и, подняв над головой бумагу, произносил речь. Несколько раз народ кричал «ура!», и я тоже кричал «ура!» вместе со всеми, хотя мне плохо было слышно оратора. Я потянул за рукав стоявшего рядом со мной красноармейца.

— Дяденька, кто это?

— Это Фрунзе, наш командующий.

— А что он говорит, дяденька?

— Он только что товарищу Ленину доложил о нашей победе.

— И Ленин здесь?

— Нет, мальчик, товарищ Ленин в Москве. Командующий ему по телеграфу докладывал. А ты давай поближе, послушай, что он говорит, это тебе в жизни пригодится.

Совет этот пришелся мне по душе. Я стал энергично пробиваться вперед к вагону. И странное дело: все мальчишки и девчонки сразу же последовали моему примеру. Через несколько минут все мы оказались впереди, у самого вагона.

О чем говорил Фрунзе, я не запомнил, да и, вероятно, ничего не понял тогда из его речи. Лишь спустя десять лет, уже будучи комсомольцем, я прочитал в учебнике политграмоты такую телеграмму:

«Оперативная. Вне очереди.

Предсовнарком т. Ленину.



Сегодня нашей конницей занята Керчь точка Южный фронт ликвидирован точка Ст. Джанкой 16/ХІ

Команд. Южфронта Фрунзе».

А тогда, у штабного вагона, я все воспринимал по-своему, по-ребячьи. Я считал, что мне здорово повезло: увидеть командующего, самого главного у красных — такое не каждый день бывает с мальчиками... Вот расскажу Петьке, так он даже не поверит... Затем моим вниманием всецело завладел матрос, стоявший возле Фрунзе. Это был настоящий великан. Все в нем меня восхищало — и бескозырка с ленточками, и треугольник тельняшки, и маузер в деревянной коробке, и высокие, поистине великанские сапоги — в каждом из них мог свободно поместиться такой мальчонка, как я. Все мне нравилось в матросе. Даже некрасивые серые пятна на голенищах его сапог: то проступила сквозь кожу злая сивашская соль.

Я мог бы бесконечно любоваться матросом, но было страшно холодно. Когда шлепаешь босыми ногами по грязи — это еще ничего, можно терпеть. А попробуй постоять с полчаса на цементном перроне! Я начал клацать зубами и уже подумывал о том, что, пожалуй, надо убираться домой. Но тут Фрунзе кончил речь и впервые внимательно поглядел на стоящую перед ним детвору. Должно быть, очень уж невесело мы выглядели: раздетые, разутые, нестриженные, нечесанные, посиневшие от холода, потому что лицо командующего сразу помрачнело.

— Устройте детям праздник, — сказал он матросу и поднялся в вагон.

Толпа стала расходиться, и матрос, сложив рупором ладони, крикнул: — Товарищи дети, стройся по-двое!

Мы начали строиться. Это мы умели. Живя в прифронтовом городе, мы росли среди солдат. Почти все мужчины, которых мы знали, были солдатами.

Мы построились в колонну, и какая-то женщина уныло, словно оплакивая нас, сказала:

— Довоевалась Россия. Вот и пацанов в солдаты забрили.

Но мы не испугались, мы знали — впереди нас ждет что-то очень хорошее, радостное, ведь Фрунзе ясно сказал: «праздник».

Ах, как манило и волновало нас это слово! Нас не баловали праздниками в нашей бедной, голодной, неустроенной жизни.

Матрос и еще двое красноармейцев в кожаных куртках при шашках и карабинах стали впереди и повели нас к центру города. Идти в строю плечом к плечу с другими ребятами было как-то особенно весело и хорошо. Даже улицы Джанкой, развороченные и разбитые войной, даже осенний назойливый дождь, даже холод, совсем окоченевшие босые ноги не могли омрачить мою радость. В жизнь мою входило что-то новое, высокое, торжественное. И когда матрос поворачивался к нам и шутя командовал: «Ногу держите, ребята! Ать, два! Ать, два!» — сердце мое начинало неистово колотиться. И тогда впервые во мне родилось желание стать солдатом.

Всем существом своим я хотел одного: пусть дадут мне в руки шашку, наган, карабин и пусть матрос уже не шутя, а всерьез скомандует: «За мной, ребята! В атаку! Бей проклятых буржуев!» В огонь и в воду я пойду за матросом. В огонь и в воду! Мог ли я тогда думать, что все это еще будет в моей жизни, что сыновьям моего класса, идущим трудной дорогой отцов, предстоят еще бои и бои. Мог ли я думать, что спустя двадцать один год, вот на этих самых джанкойских улицах, мне доведется участвовать в жестокой схватке с немецкими фашистами.

Сейчас, когда я пишу эти строки, перед глазами моими, словно жи-



вой, стоит другой матрос — черноморец Иван Фролов. Он мой сверстник. В двадцатом ему, как и мне, было семь лет. Он тоже навсегда вошел в мою жизнь. В сорок первом на пылающих джанкойских улицах он повел нас, горсточку советских воинов, в контратаку на немецкий батальон.

Будто вчера это было, я слышу голос Ивана Фролова: «За мной, товарищи! Бей фашистских гадов!»

Будто вчера это было, я вижу, как сраженный пулей упал на скользкую от крови джанкойскую мостовую идущий впереди нас черноморский матрос-коммунист Иван Фролов.

Но тогда, в двадцатом, ничего еще не ведая о нелегкой своей, многотрудной солдатской судьбе, я думал только о предстоящем празднике. Каким он будет? Хочу себе представить его — и не могу. Я так увлекся этими размышлениями, что уже не обращал никакого внимания на дождь, холод, слякоть.

...В двадцатом году Джанкой был совсем маленьким городком. От вокзала до центра идти недолго.

— Стоп! — скомандовал матрос.

Я очнулся, поднял голову и не поверил своим глазам: мы стоим перед иллюзионом «Марс». Неужели нам покажут картину? Вот это будет праздник!

Иллюзион «Марс» был для меня чем-то совершенно недосыгаемым. Из всех ребят нашей улицы лишь очень-очень немногим посчастливилось побывать здесь. О, как завидовал я тогда этим счастливцам! Как мечтал хотя бы одним глазом взглянуть на волшебство!

Мы входим в холодный полутемный зал. А я все еще сомневаюсь: вдруг не покажут картину. С тревогой прислушиваюсь к тому, о чем говорит матрос с длинноусым дяденькой.

— Нет, нет, я не хозяин, я монтер, — говорит длинноусый. — Хозяин удрал с беляками. И, главное, все картины увез.

Сердце мое больно сжимается.

— Не беда, — говорит матрос. — Картина у нас своя есть. Сейчас принесут. А ты мне вот что скажи, браток, аппарат у тебя исправный?

— Вполне.

— Ну так готовься. Будешь крутить.

— Рад стараться, товарищ начальник.

— Уф, — облегченно вздыхаю я.

И вот я в первый раз в своей жизни смотрю кинокартину. Она называется «Первомай». Картина цветная, но не такая, как теперешние цветные, а раскрашенная. Сначала на полотне возник земной шар. Он раскрашен, как школьный глобус, и весь опутан цепями. Но вот вышел могучий кузнец в красной рубахе. Он взмахнул молотом, ударил по цепям, и они разлетелись. Это мне очень понравилось. Отец у меня тоже кузнец и, конечно, тоже такой сильный. Потом по полотну стали идти люди в разноцветных одеждах с красными знаменами в руках. Матрос со своего места в первом ряду громко называл все народы: индийцы, китайцы, англичане, норвежцы. Он все знал, наш матрос. И я был убежден тогда, что он самый ученый человек на свете.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — сказал матрос, и тотчас же на полотне кто-то написал эти слова большими печатными буквами. Мы были не ахти какими грамотеями и все же прочитали хором по складам: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А когда исчезла надпись, вышли три человека — русский, китаец, негр — и запели, беззвучно запели, кино тогда было немым, и только по движению губ можно было догадаться, что эти люди поют.



— А поют они «Интернационал», — пояснил матрос. — Нашу боевую песню. Знаете?

Мы не знали.

— Горе мне с вами, — сказал матрос. — До чего же вы несознательные!

Он поднялся и крикнул:

— Монтер! Стоп машина!

В зале зажегся свет, в небольшом окошке позади нас показалось усатое лицо монтера.

— Что прикажете, товарищ начальник?

— Где ваша музыка?

— Удрала вместе с хозяином.

— А, чтоб ей в пекло провалиться! — огорчился матрос. Он приподнял крышку пианино и постучал указательным пальцем по клавишам. Пóслышалось что-то вроде «Чижика». Нас это рассмешило, а матрос еще больше огорчился и, сердито хлопнув крышкой, велел монтеру:

— Крути все сначала.

И снова прошли перед нами народы. И снова обнялись, как родные братья, русский, китаец и негр. И когда они разомкнули губы, мы услышали песню. Сначала мы даже не поняли, кто это поет. Потом увидели — это матрос. Он стоял перед экраном, руки по швам, голова слегка откинута назад, и огромная тень его лежала на полотне. Там, на полотне, он был четвертым. Но нам он казался самым живым, самым настоящим, потому что мы слышали его живой голос. Так впервые в маленьком городке Джанкое, в холодном зале иллюзиона «Марс» зазвучало для нас некое кино.

Нельзя сказать, чтобы он был хорошим певцом, наш матрос. Голос у него был хриплый, простуженный, да и не удивительно: немного минуло часов с той темной, беззвездной ночи, когда он шел через Сиваш по пояс в холодной воде. Но что-то в самой песне было такое, что все мальчишки и девчонки в зале поднялись, как один. И точно так же, как матрос, мы вытянули по швам руки, гордо вскинули головы и замерли. Мы сердцем почувствовали, мы детским своим умом постигли, что это о нас, о нашей неосознанной еще силе, о нашем будущем поет матрос. Это нам торжественно обещает песня: «Кто был ничем, тот станет всем».

Наверное, недолго длился этот киносеанс, минут двадцать, не больше. Но когда мы вышли на улицу, у меня было такое чувство, что прожиты мною не минуты, а годы — так много было узнано и прочувствовано.

— До новой встречи, юные коммунары, — сказал нам матрос. — А теперь — марш по домам.

Вечером, захлебываясь от восторга, рассказал я отцу о всем виденном и пережитом за день.

— Матрос назвал нас юными коммунарами. Вот видишь, папа, я теперь, как ты, коммунары, — с гордостью заключил я свой рассказ.

— Нет, сынок, ты пока еще не коммунары. Вот окончим войну, вернемся домой насовсем, тогда и заживем коммуной. Тогда и ты станешь у нас настоящим коммунаром.

## VI

Отец вернулся с войны только через полгода. Я напомнил ему:

— А когда же я стану коммунаром?

— Теперь уже скоро, — обещал отец.

Я не любил этого слова, но отцу я верил. И он не обманул меня.



Зимой двадцать первого года отец мой вступил в коммуну «Октябрь», организованную его однополчанами — бойцами Южного фронта в большой степной экономии бежавшего за границу немца-помещика.

Отец приехал за нами из коммуны на параконной колониетской бричке. Небогатые наши пожитки были отправлены за день до этого и после недолгих сборов — дали только немного отдохнуть лошадям — меня и шестилетнюю сестренку закутали в огромный овчинный тулуп и усадили в усталый сеном кузов. Отец и мать поместились впереди на рессорной седушке. Сразу же за окраиной городка началась степь. Она была по-зимнему мрачная, грязно-серая, и небо над нею было такого же невеселого цвета. А в небо словно вмерзло немощное остывшее солнце. Казалось, это от него исходит на землю нестерпимая стужа, и сестренка грустно сказала:

— Померло наше солнышко.

Она притихла, видно, очень уж ей досаждал холод. Она пожаловалась матери. Отец остановил коней и сказал:

— Слезайте, детки. Побегайте немного, согрейтесь.

Сестренка сразу слезла, а я заупрямился:

— Не могу. Ноги не слушаются.

Я говорил неправду. Ноги меня прекрасно слушались. Просто мне было страшно слезать с брички. Дело в том, что, когда порывами налетал ветер, по степи начинали метаться большие серые косматые шары. Они то катились с невероятной быстротой, то, отрываясь от земли, делали гигантские скачки, то сталкивались друг с другом, будто вступали в яростную драку. Я знал, что это перекасти-поле, а сестренка не знала и спросила меня шепотом:

— Они — серые волки?

— Да волки, кусучие, — сказал я и сам испугался.

— Слезай! — снова сказал мне отец.

— Не могу.

Отец показал мне кнут:

— А этого хочешь?

«Этого» я, понятно, не хотел и немедленно слез с брички.

— Бегом, — скомандовал отец и погнал лошадей рысью. Рядом со мной побежал по обочине дороги, стараясь меня обогнать, огромный взъерошенный шар. Было очень страшно. Но я вдруг решился, бросился на него и ударил ногой. Конечно, это не волк, а самое обыкновенное перекасти-поле.

Мы согрелись и дальше уже ехали веселей. Через некоторое время показался какой-то большой хутор — почерневшие скирды, железный ветряк над колодцем, клуни, конюшни и большой двухэтажный дом с башенкой на крыше. Я уже не раз бывал с мамой на таких хуторах, но этот отличался от виденных мною раньше тем, что на башне развевался большой красный флаг. Он был впечатан в хмурое зимнее небо так отчетливо и ярко, что все вокруг стало праздничным. Отец обнажил седеющую голову и сказал:

— Вот она, наша коммуна. Сними шапку, сынок. Это святое слово и святое дело — коммуна.

На хуторе нас привели в большую, давно не топленую комнату, где уже были сложены наши вещи.

— Ничего, сейчас будет тепло, — пообещал отец. Он куда-то ушел и вскоре вернулся с охапкой соломы. От соломы чудесно пахло степью и морозом. Даже когда ее зажгли в печке от огня и дыма тоже пахнуло на меня морозным степным раздольем. Навсегда запомнился мне этот запах.



Утром отец повел нас к первому в нашей жизни общему коммунарскому завтраку.

Много времени прошло с тех пор, — и какого времени! — а большинство из двадцати пяти коммунаров запомнились мне так, словно я с ними никогда не расставался.

Вначале я почему-то побаивался председателя коммуны Николая Петровича Курбатова. Наверное, меня пугал его резкий, скрипучий голос — где-то под Каховкой Курбатов был ранен в горло пулей навывлет, и когда сердился и волновался, в горле у него начинало что-то булькать и свистеть. Со мной и сестренкой Николай Петрович всегда разговаривал шепотом, чтобы не пугать. Нагнется, бывало, положит свои тяжелые руки к нам на плечи и спросит:

— Растете, коммунарики?

Я обычно отвечал за себя и за сестру:

— Растем понемногу.

— Вот и хорошо. Растите побыстрее, на радость коммуне.

Говорил он это всегда весело, но глаза его темнели от боли. Позже я узнал, что в девятнадцатом беляки заживо сожгли жену и трех малых детишек Курбатова.

Кроме меня и сестренки детей в коммуне не было. Коммунары, в большинстве своем молодые люди, пришли сюда прямо с войны и обзавестись собственными семьями еще не успели. Меня и сестренку баловали, нам отдавали все лучшее. Помню одно собрание коммунаров. Председатель доложил, что из шести стельных коров пять уже перестали доиться. Коммунары, а жилось им тогда голодно, постановили и записали в протокол: «Молоко выдавать только детям». На том же собрании было принято решение о нашей учебе. Меня оно не очень обрадовало. К наукам я никакой любви не питал и собирался жить в коммуне вольным казаком. Но с моим желанием на этот раз не посчитались. Учителем собрание назначило бухгалтера коммуны Брызгалова. Это был веселый, красивый парень, которого все уважительно называли студентом. В боях за Перекоп Брызгалов потерял правую руку, но в госпитале научился все делать левой: писать, бриться, молниеносно перебрасывать костяшки на счетах, свертывать цыгарки и стрелять без промаха из нагана, который он носил без кобуры, за поясом, прямо на животе. Учителем он оказался строгим, и когда я попытался однажды отвертеться от занятий, Брызгалов сказал:

— Предупреждаю тебя, товарищ, будешь лодырничать, лишим звания коммунара. Учти, есть решение послать тебя в школу сдавать экзамены.

Оказывается, это тоже было записано в протоколе. Делать было нечего, я покорился.

В ту зиму коммуна жила не только бедно, но и очень тревожно. Она, словно островок, была окружена со всех сторон кулацкими хуторами и немецкими колониями. В степи свирепо разбойничали недобитые белогвардейские банды. Коммунары работали, не выпуская из рук оружия. В отцовской кузне на верстаке всегда стоял наготове пулемет, и молотобоец Горюнов частенько проверял его, выпуская в степь короткие очереди. Я днями торчал в кузне, надеясь, что мне позволят стрельнуть из пулемета. Какой там!

Не раз по ночам всех нас будила резкая команда Курбатова: «В ружье!». Отец мгновенно вскакивал, быстро одевался, срывал со стены карабин и выбегал из комнаты. За окнами гулко хлопали выстрелы, слышались чьи-то тревожные голоса — коммунары отбивали очередной налет бандитов.



Я подметил, что такие боевые стычки чем-то даже нравились коммунарам, поднимали их настроение: они пока все же были больше солдатами, чем землеробами.

Приближалась весна. Коммунары ходили хмурые, озабоченные. На собраниях обсуждался один и тот же вопрос: чем будем пахать и сеять? Не хватало тягла. На конюшне стояло две пары волов и восемь отощавших за зиму лошадей. Не размахнешься! Но ещё больше огорчало другое. Почти все первые члены коммуны были рабочие: москвичи, харьковчане, севастопольцы. Создавая коммуну, они стремились показать крестьянам-беднякам пример строительства новой жизни. Многие коммунары думали, что пройдет месяц, ну, самое большее, два, и в коммуну хлынет беднота со всей округи. А этого пока не случилось. И вот некоторые — самые горячие, нетерпеливые товарищи — стали отчаиваться. Курбатов пытался их успокоить:

— Не торопитесь, хлопцы. Встанем на ноги, укрепнем, так беднота потянется к нашей коммуне, как к магниту.

Все же, чтобы ускорить дело, решено было послать по деревням агитаторов. Вернулись они ни с чем. Зато без всякой агитации пришла в коммуну молодая батрачка с соседнего кулацкого хутора.

Мы как раз обедали. Вдруг отворилась дверь, вошла молоденькая девушка в старом, потертом кожухе, поставила на пол деревянный сундук, поклонилась и сказала:

— А я до вас. Можно?

Коммунары обрадовались:

— Приветствуем! Просим. Ты, дивчина, для нас, как первая весенняя ласточка.

Девушка рассмеялась:

— Какая я ласточка! Я поденщица. У макаровских молокан служила. Зовут меня Ольга, фамилия Петриченко.

Ольгу пригласили к столу, она не отказалась, а после обеда пошла с мамой на кухню мыть посуду. Через часок я уже видел ее в коровнике, она там что-то чистила, убирала и при этом разговаривала с буренками, как с людьми.

Ольга была не очень красивая и не очень ласковая девушка, но я сразу привязался к ней. Я ходил за ней по пятам, но она больше обращала внимания на мою сестренку, с ней и поговорит и посмеется, а я как будто и не существую. И все-таки я любил Ольгу преданно и нежно. Дня через два приехали за ней ее бывшие хозяева — бородатый старик-молоканин и трое его немолодых, тоже бородатых, сыновей. Они даже не слезли с тачанки, в которую были запряжены сытые, звероватые кони. Старик вызвал председателя:

— Вели нашей девке собираться, начальник.

— Убирайтесь! — коротко ответил Курбатов.

— По доброму не отдашь, силой свое возьмем, — спокойно сказал старик.

Курбатов рванул маузер. Я тоже чуть было не кинулся на врагов. Но молоканин стегнул коней, гикнул, и тачанку вынесло за хутор. Теперь я плохо спал по ночам. Мне все чудилось, что бородатые кулаки крадутся к хутору, чтобы похитить мою Ольгу. Я готов был защищать ее до последней капли крови и мысленно совершал ради своей любви самые героические подвиги. Но любовь эта внезапно прошла и даже обернулась чуть ли не ненавистью. Случилось это из-за голубей. Они жили в башенке над нашим домом. Часами я мог наблюдать, как они гуляют по крыше, — важные сизокрылые красавцы — несбыточная мечта моего детства. Подойти к ним близко мне пока не удавалось. Но я надеялся — наступит весна,



пригреет солнце, голуби подобреют и сами дадутся мне в руки. Да вышло по-другому.

Однажды утром Ольга сказала коммунарам, что пшена осталось только на сегодняшний обед, что кончились все припасы: мука, картофель, жир, лук. Молока тоже не было — коровы не доились. Курбатов велел запрягать бричку и поехал с двумя коммунарами в город добывать продукты. Мы поели за обедом последний кондер, а на следующее утро Ольга позвала меня и сестренку на кухню, вручила нам по сухарю и сказала:

— Это все, на весь день. Обед сегодня не будет. Может, к вечеру что-нибудь приготовим, если председатель вернется.

Но председатель не вернулся и к вечеру. Видимо, раздобыть продукты в голодающем городе ему пока не удалось. Наступил новый голодный день. Кто-то предложил зарезать корову: «Не помирать же с голоду».

— Корову не дам, — твердо сказала Ольга. — И помереть вам не дам. Накормлю.

Я увидел Ольгу, когда она уже спускалась с крыши. В руках у девушки был мешок из-под муки, на котором расплзлись какие-то красные пятна. Я сразу догадался: «Голуби!.. Мои голуби!»

Сжав кулаки, я бросился на Ольгу. Она молча отстранила меня и, не оглядываясь, пошла на кухню. Я заплакал горькими слезами и закричал ей вслед самое обидное, что только мог придумать:

— Буржуйка ты, а не коммунистка! Буржуйка проклятая!

К обеду в тот день я не притронулся. Коммунары ели наваристый суп и дружно хвалили Ольгу. А я смотреть на нее не мог — так возненавидел.

## VII

В степи потеплело. Как-то ночью выпал снег, но пролежал всего два дня и исчез бесследно. Коммунары выехали в поле. Сеять надо было по весновспашке и пахать пришлось день и ночь. В те дни я от зари до зари находился в поле. Брызгалов получал в городе семенную ссуду и ему было не до меня. Я ходил за плугом с чистиком в руках, покрикивал на приставших волов и вообще держал себя как заправский пахарь. Как-то утром, когда мы собрались в поле, пришел нарочный со станции.

— Вам груз. Из самой Америки. Идите, получайте.

Всей коммуной мы тотчас же двинулись на станцию. Еще издали мы увидели на разгрузочной платформе огромные ящики. Я опередил коммунаров и первый взбежал на платформу. Около ящиков спал какой-то человек.

— Вставайте! Мы пришли!

Он поднялся, и я удивленно ахнул: передо мной стоял негр, самый настоящий и, прищурив заспанные глаза, вежливо и вопросительно улыбнулся мне.

— Интернационал! — радостно закричал я. — Интернационал!

Негр поднял меня на руки, шагнул навстречу коммунарам и сказал по-русски:

— Здравствуйте, товарищи! Привет вам от рабочих Америки.

Наши бросились обнимать негра. Он опустил меня на землю, но я все вертелся возле него и возбужденно кричал:

— Это интернационал! Честное коммунарское, это интернационал!

Никто не понимал, о чем я говорю, но все смеялись. Отец строго сказал:

— Ты что кричишь, как будто знаешь этого человека!

— Ну, конечно, знаю. Он тогда вместе с матросом пел в кинокарти-



не. Он был тогда точно такой же, в таком же синем рабочем костюме. И матрос, показывая на него, сказал: «Интернационал!»

Отец ласково погладил меня по голове:

— Ты немного ошибся, сынок. То, наверное, был другой товарищ. Но в общем, ты прав...

Через несколько минут я уже знал, что негра зовут Джо. Джо Дэвис — так он себя назвал. По его указаниям коммунары разобрали ящики, и мы увидели трактор на высоких красных колесах. Я потом нигде не встречал такие машины — радиатор у нее был не спереди, как на всех нынешних тракторах, а сбоку, кажется, с правой стороны. В других ящиках оказались плуг, дисковая сеялка и жатка.

В полдень мы двинулись домой праздничной колонной: впереди — трактор под красным флагом, за ним на прицепе плуг и сеялка, жатку поставили на мажару, а за ней шли в строю коммунары и пели боевую песню:

«Смело мы в бой пойдем  
За власть Советов  
И как один умрем  
В борьбе за это...»

Поздним вечером, ускользнув из нашей комнаты, я забрался на койку к негру. Мне о многом надо было у него спросить.

— Ты, наверное, очень богатый, Джо?

— Богатый? — удивился негр. — Я бедный. Я рабочий.

— Где же ты взял деньги, Джо, чтобы купить нам эти подарки? Машины, наверное, дорого стоят?

— Дорого. Очень дорого, — ответил Джо. — Один бедный человек не купит. Каждый рабочий дал по доллару. Тысяча рабочих — тысяча долларов. Две тысячи рабочих — две тысячи долларов. Купили машины и мне сказали: «Джо, тебе выпало большое счастье отвезти наш подарок в Советскую Россию». Я даже заплакал от радости.

— Значит, ты бедняк, Джо?

— Да, мой мальчик, бедняк. Вот все, что у меня есть.

И он раскрыл свой зеленый вещевой мешок. Я увидел смену белья, бритву, помазок, катушку ниток и кусок мыла в цветной обертке. Мне очень хотелось иметь такое. Но когда Джо протянул его мне, я отказался.

— Нет, нет, Джо! Как я возьму! А чем ты сам будешь мыться?

— Мне мыться не надо, — рассмеялся Джо. — Я черный, потому что родился чернокожим. А ты черный, потому что моешься без мыла. Возьми мыло, всегда белым будешь.

Я тоже рассмеялся и принял подарок.

Прошло не более часа и я, пожалуй, уже лучше всех в коммуне знал биографию Джо Дэвиса. Сын чикагского слесаря, он с четырнадцати лет стал работать вместе с отцом на заводе. В восемнадцатом году Джо призывали в армию, а в девятнадцатом посадили на два года в тюрьму.

— А за что тебя в тюрьму взяли? — спросил я.

— Я коммунист, — ответил Джо. — Понимаешь?

Это я понимал. При Врангеле многих людей с нашей улицы взяли в тюрьму. Многие туда взяли и очень немногие вернулись оттуда. Не вернулись наши ближайшие соседи — трое братьев, рабочих паровой мельницы — Юхим, Андрей и Степан Фориненко, паровозный кочегар казанский татарин Муртаза и учитель еврейской школы Моисей Гиммерштейн. Осенней ночью их повесили на старых липах возле электростанции. Утром мы шли с бабушкой на базар и увидели: висят все пятеро наших соседей и у каждого на груди табличка с надписью: «Коммунист».



— Идем, скорее идем отсюда, — сказала бабушка. А я ни с места. Хочу бежать, но шагу не могу сделать, словно оцепенел. Хочу кричать, но крик застрял в горле. Хочу отвернуться, не смотреть, но не могу и все смотрю на знакомые и вместе с тем уже незнакомые лица. С трудом увела меня бабушка от страшного этого места. На базар мы уже не пошли — вернулись домой. Бабушка зажгла свечи и, плача, принялась горячо шептать какие-то неизвестные мне молитвы. Я спросил ее, о чем она молится.

— За них молюсь, — ответила бабушка. — Это — святые люди. Они умерли за нас.

Когда я рассказал об этом Джо, он вздохнул:

— Меня тоже хотели повесить.

В тюрьме соседом Джо по камере был революционер-эмигрант из Москвы инженер Трубачев. У него Джо научился русскому языку.

— Трубачев настоящий большевик, — сказал Джо. — Смелый, никого и ничего не боится. Мы вместе с ним приехали в Россию: он к товарищу Ленину, а я — к вам.

— Ой, Джо! Почему же и ты не поехал к товарищу Ленину?

— Я поеду. Поработаю в коммуне, потом поеду.

— И меня с собой возьмешь?

— Конечно, возьму. Я скажу товарищу Ленину: «Это мой русский братишка. Вы посмотрите, товарищ Ленин, он еще такой маленький, а уже коммунар. А скоро он вырастет и мы будем вместе делать мировую революцию».

— Ты чудесный человек, Джо, дай я тебя поцелую.

С того вечера я стал считать себя первым другом Джо и чуть ли не самым главным его помощником. Само собой разумеется, что когда Джо выехал в поле сеять, я отправился с ним. Два раза на ровной дороге Джо позволил мне подержаться руками за руль. Он не был в этом отношении похожим на других взрослых. Он все разрешал мне, добрый Джо.

Курбатов сам засыпал в длинный ящик сеялки семена. Джо положил золотистые зерна пшеницы на ладонь и долго смотрел на них, думая о чем-то своем.

— Счастливое зернышко, — сказал он, улыбаясь.

## VIII

Мне недолго пришлось единолично наслаждаться дружбой с Джо. Совершенно неожиданно между нами встала Ольга. Несколько раз я видел их вместе. Джо что-то рассказывал девушке, должно быть, веселое, потому что Ольга все время смеялась. Мне чем-то не понравился ее смех. Никогда раньше я такого не слышал. И все же я не придавал этому никакого значения. Мало ли с кем разговаривает мой приятель Джо. Но как-то, забежав в кузню, я узнал поразившую меня в самое сердце новость: Ольга и Джо скоро поженятся.

...Я бежал к трактору напрямик, не разбирая дороги, и с ужасом думал: у меня отнимают Джо. Моего Джо. Я не допущу этого! Не допущу!

Джо отдыхал. Он лежал на траве и дымил сигаркой — коммунары научили его курить крепкую солдатскую махорку. Я присел около него на корточки, и не переводя дыхания, выпалил:

— Не делай этого, Джо. Очень, очень прошу тебя, не делай!

Джо недоуменно покосился на меня:

— Что ты хочешь сказать, братец?



— Ты славный, Джо. И добрый. Очень добрый. А она... Ты посмотри на нее хорошо, Джо. У нее же все лицо в веснушках.

Теперь он понял. Он захохотал, вскочил и принялся меня тормошить.

— Ах ты, глупый мальчик. Это же так красиво, когда веснушки.

Я посмотрел на Джо и понял: он останется моим другом. Что бы ни случилось. Ну, а раз так, пусть себе женится.

## IX

Коммунары готовились к первомайскому празднику. Брызгалов надумал поставить спектакль. Он съездил в город и привез пьесу о Парижской Коммуне. Все коммунары захотели играть в этой пьесе и, к их счастью, ролей хватило на всех. Даже для меня и сестренки. Брызгалов взял себе главную роль — командира на баррикаде. Джо должен был играть негра, приехавшего из Африки защищать коммуну. Папе досталась роль русского революционера, Ольга и мама представляли парижанок. Но самая замечательная роль, конечно, досталась мне. Я был маленьким барабанщиком на парижской баррикаде.

Дня за три до праздника Курбатов привез из Джанкоя замечательные подарки мне и сестренке: новые желтые сандалики. Взрослые ничего не получили — коммуна была еще очень бедна. Но и взрослых Курбатов тоже порадовал, сказав, что расквартированная в Джанкое воинская часть выделила для коммуны двадцать лошадей. Коммунары встретили это сообщение дружным «ура!».

Первомайское утро началось праздничным завтраком. Мама и Ольга постарались. Мы давно так вкусно не ели. Я уписывал за обе щеки яичницу и жалел только о том, что за столом нет сейчас Джо. Коммуна послала его в большую присивашскую деревню Угрюмовку пахать землю крестьянам-беднякам. Он должен был с минуты на минуту вернуться, и мне все время казалось, что я слышу далекий рокот его трактора. Я несколько раз подбегал к окну — никого. Кажется, я первый услышал конский топот и бросился к дверям.

Какой-то парень круто осадил коня у самого крыльца. С конского брюха отваливались и падали на землю хлопья белой пены. Парень приподнялся на стременах и крикнул:

— Эй, коммунары! Механика вашего убили. И трактор вдребезги...

Все остальное происходило, словно в полусне. Коммунары бегом выводили из конюшни лошадей, щелкали затворами, заряжая винтовки, отец и Горюнов тащили к тачанке пулемет, а я вцепился руками в борт какой-то брички и кричал, захлебываясь слезами:

— Возьмите меня с собой! Возьмите!

...Коммунар Джо Дэвис, негр из Чикаго, широко раскинув руки, лежал на недопаханном поле. А за кромкой пахоты, куда ни глянешь, от края до края, жарким пламенем рдели весенние маки. Казалось, будто вся земля вокруг была залита горячей красной кровью моего чернокожего друга.

Крепко прижавшись к отцу, я, затаив дыхание, слушал, что говорит коммунарам председатель сельсовета:

— Поле это — Федора Барсукова надел. Он у нас самый бедняк, безлошадный, недавно с Красной Армии вернулся. Мы, когда про беду узнали, прискакали сюда, а они рядом лежат — Федор и ваш механик. Ну, как два родных брата. Видать, здорово они дрались с врагами, по-нашему, по-красноармейски, плечом к плечу... Смотрим: механик уже



мертвый, а Федор чуть дышит... В город мы его отправили, да доктора сомневаются, говорят — не выживет.

...Джо Дэвиса похоронили в степи, на вершине кургана у двух озер. Вместо памятника на могиле Джо коммунары поставили разбитый врагами трактор.

Я не помню речей — их было много в тот скорбный час. Люди поднимались на трактор и говорили, гневно потрясая кулаками. Потом трижды прогремел залп из винтовок, и на могилу Джо со звоном посыпались желтые стреляные гильзы — прощальные солдатские цветы.

Коммунары запели «Интернационал». Пели все, даже Курбатов, и слова песни, вырываясь из его простреленного горла, становились похожими на боевую команду, зовущую воинов в атаку.

Только Ольга не пела. Она плакала.

★ ★ ★

И вот я снова пришел на вершину степного кургана. В лицо мне дует свежий ветер. Он доносит гул тракторов. Днем и ночью не умолкает сейчас в присивашье победная песнь моторов.

Как хорошо, что рядом со мной стоит здесь молодой мой товарищ Алеша Коновалов — поэт, солдат, коммунист. Он родился уже после смерти Джо Дэвиса. Другое время растило и воспитывало его, но я знаю, я убежден: сейчас мы думаем об одном и том же и видим мы сейчас одно и то же — то великое, родное, ради чего только и стоит человеку жить на свете, стоит бороться, а если понадобится — и умереть.

1957 г. Тбилиси.



## Самому себе

Перевод с грузинского Б. Пастернака.

Сядь, посвяти свои помыслы благу.  
Изобрази, что волнует наш край.  
Изголодавшуюся бумагу  
Мыслями памятными пропитай.

Чуждый мещанской пустой суматохи,  
К людям ты льнул трудовым и теперь.  
В строгом горниле суровой эпохи  
Правды своей долговечность проверь.

Ты даром слова владеешь. Природа  
Даст этой силе широкий полет.  
Меряй отныне стихами невзгоды,  
Рифмой веди испытаниям счет.

Слово, нацеленное на мишени,  
Метко вонзается в цель, как стрела.  
Изобрази, как росло поколение,  
Вырази, как его слава росла.

Вспомни, как мальчики удочек лески  
Махом бросали в Лиахву с моста.  
Вспомни трущобы, углы, перекрестки,  
Где выростала, ютятся, беднота.

Дивной Кахетии дай описание,  
Рек и долин ее, роц и полей.  
На Мурдзакана Дадешкелиани  
Свет изысканий новейших пролей.

Кару предвидя, надежды какие  
Мог он питать, и чего он желал,



На губернатора из России  
Жизни ценой поднимая кинжал?



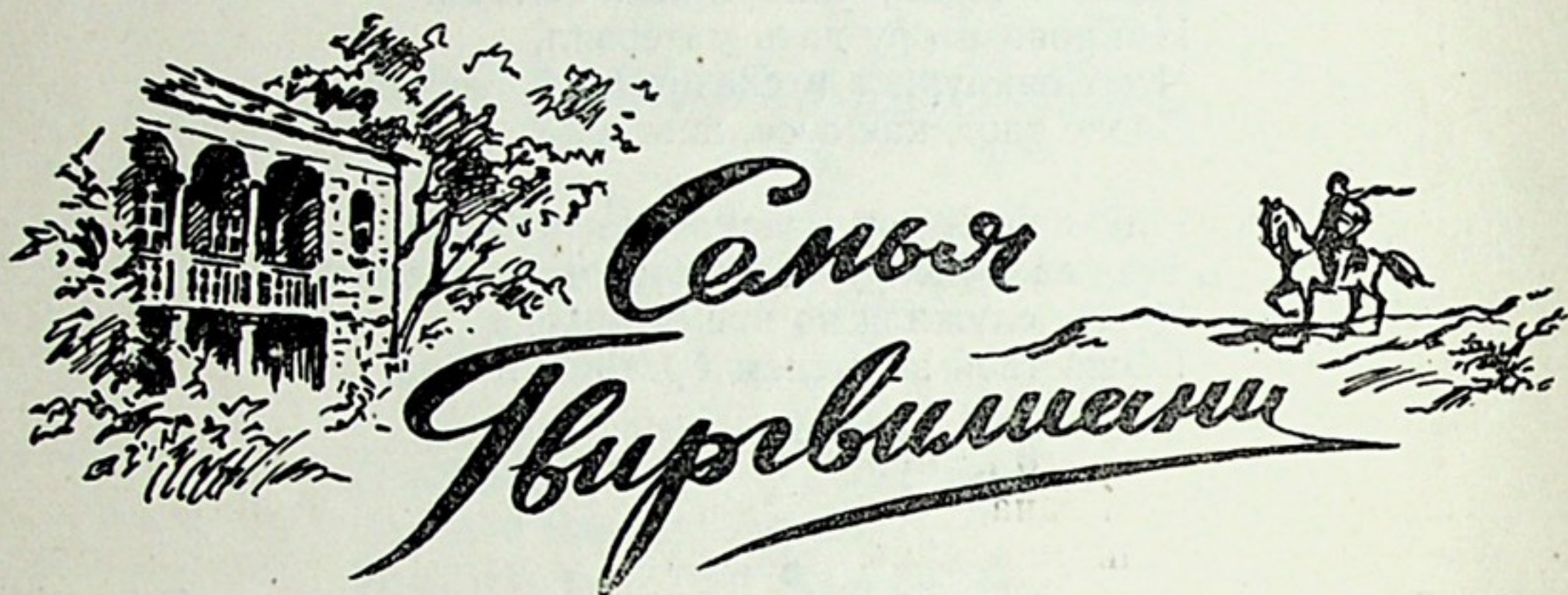
Сядь, запиши, нанеси на бумагу,  
Все, чем ты жил, что достойно любви.  
О Саакадзе старинную сагу  
Вынь из забвения и obnovи.

С косностью спорь, но не наши печали,  
Если кто хочет плестись позади.  
Вывери Пушкина в оригинале,  
И по-грузински переведи.

Сядь и пиши, увлеченный задачей  
Импровизатору дать матерьял,  
Чтоб пандурист и сказитель бродячий  
Слово твое, как свое, повторял.

Чтобы твой дар признавала природа,  
Верила в искру святую твою.  
Чтобы служила во время похода  
Песнь твоя знаменем братьям в бою.





РОМАН

(Продолжение)

Перевод с грузинского Наты Чхеидзе.

16.

Нектарина внимательно читала письмо, полученное из Кутаиси. Не успела она дочитать его до конца, как громкий вопль вырвался из ее груди:

— Горе мне, до чего я дожила, несчастная! Гутати, Гутати, где ты?

Баронесса и Дагмара покупали в это время товар у Бенойи и не обратили на крик внимания, а старая Дзилхана выполняла наказ госпожи и не могла отойти от Кесарии. На балкон выбежала одна Толисквами и остановилась перед княгиней, ожидая, что та прикажет.

Нектарина неприязненно оглядела девушку и сказала ей голосом, полным злобного упрека:

— Ах ты несчастная, несчастная!

Толисквами вздрогнула, не понимая, чем она могла так рассердить свою приемную мать. Какой презрительной жалостью повеяло от её слов! Девушка стояла в замешательстве, не зная, что ей делать. Нектарина вдруг снова обрушилась на нее:

— Столбняк на тебя напал, что ли, в злосчастный день породил тебя господь бог! Иди сейчас же и позови ко мне Гутати!

Толисквами покорно вышла исполнить приказание. Сердце ее больно сжалось: хоть Нектарина никогда не баловала девушку ласковым обра-



щением, но услышать из уст своей благодетельницы оскорбление было очень тяжело.

Между тем Бенойа, выложив на заднем балконе дома свои товары, разворачивал перед баронессой то одну, то другую ткань. Минадора выбрала нарядный ситчик, по желтому полю которого были разбросаны ярко-красные ягоды земляники.

— Вот покупательница — я понимаю! Дай бог тебе здоровья, госпожа! — воскликнул Бенойа. — Не прикажешь ли еще чего?

— Теперь покажи мне вон ту материю, — баронесса указала глазами на сверток красного атласа.

Продавец ловко развернул блестящую ткань.

В это время на балкон поднялся Гутати.

— Бенойа, — сказал он, — ведь нынче ваша пасха, а ты все же торгуешь в такой день.

— Наша пасха давно отошла, родной, теперь идет ваша страстная неделя.

Прибежала взволнованная Толисквами и передала Гутати наказ княгини.

Когда он появился на балконе, Нектарина встретила его криком:

— Ты только подумай, что со мной вытворил мой Тайя! Тайя — оплот и надежда семьи! Горе мне, до чего я дожила, несчастная! Погибла семья, погиб род великого Отиа!

— Что такое, княгиня, что случилось с Тайей?

— Случилось то, чего не пожелаешь и врагу! Вот, прочти!

Но только Гутати начал читать, Нектарина заговорила снова:

— Жена Саникии пишет мне, что Тайя отбился от рук, сошел с ума. В Кутаиси существует какой-то подозрительный кружок, и он состоит в нем.

— Об этом, госпожа, говорят всюду. Говорят, что в Кутаиси и Батуми образовались какие-то кружки. Хотят, будто, свергнуть царя, уничтожить всех князей и дворян, уравнивать всех людей!

— Не дожить им до этого дня! Я тоже слышала, что в Батуми рабочие болтают бог весть что. Но гимназист?! К тому же еще князь, сын такого отца! Ох, несчастный, несчастный Арчил, когда б он знал, перевернулся бы в гробу! Она не пишет определенно, но, видно, Тайя исключен из гимназии. Оттого, верно, и не заявился сюда на праздники. С каким бы лицом он предстал передо мной!

— Да нет, он, кажется, приехал.

— Где же он — чтоб ему не уцелеть на этом свете! Или он тоже вздумал воевать с царем? О, если это так... Вот только отойдут праздники — и если это подтвердится — прокляну его! Так безжалостно разрушить все мои планы! Мы, Гвиргвилиани, почти все бездетны, он один у нас бродит по земле, этот мальчишка. Женив его на Толисквами, я хотела объединить все поместья в одних руках. Ты понимаешь, что б это было, Гутати! Майорат, настоящий майорат! Или князю Мегрельскому подобает иметь майорат, а нам нет?

Гутати слушал княгиню молча, зная, что, когда она разойдется, остановить ее невозможно. Когда же Нектарина перевела дух, он заметил:

— Об этом вы не раз говорили, княгиня.

— Говорила, да, и этому отдавала все свои силы, а он — нате вам! — развеял прахом мои труды, самое мое большое желание. О, горе мне, зачем я дожила до этого дня! А все же где он околачивается, несчастный? Уж, наверное, у Вамеха... Поди и приволоки его сюда за уши, подлого мальчишку!



В это время Гутати заметил в большом зале молоденькую девушку, беседовавшую с Толисквами.

— Вон там, кажется, дочка Утутии Давитая, — сказал он. — Она, наверное, знает, где Тайя. Он очень дружен с ее братом и не мог не зайти к ним. Эй, девчонка, поди-ка сюда! — позвал он Челу.

«Девчонка» вышла на балкон и, не поклонившись, встала поодаль от собеседников. Она удивленно посмотрела на княгиню, потом на управляющего, словно спрашивая: «Что вам угодно, зачем звали меня?»

Гутати уставился на стройную, уже расцветшую фигурку Челы и заговорил с ней довольно мягким тоном:

— Тебя, девка, вежливости не учили? Не могла, когда вошла, обнять у барыни колени и поцеловать ее в грудь?

Чела молчала, смело глядя на княгиню. В свою очередь, и Нектарина окинула взглядом девушку.

Красивые, прозрачно-серые глаза княгини были полны высокомерия, от них так и веяло холодом. И это делало ее какой-то далекой, неприступной. Когда она смотрела на человека, глаза эти, казалось, говорили: «Кто ты передо мной? Червяк ничтожный».

Совсем иное выражали черные глаза Челы. Правда, их обладательница тоже не отличалась податливостью, она не легко открывала людям душу, но ее пронзительный взор, казалось, стремился проникнуть в глубь вещей, осмыслить и понять все, на что они смотрели.

И вот, лицом к лицу встретились эти два человека разного происхождения, воспитания и возраста. Чела смотрела на Нектарину прямо, открыто, смело. И полные заносчивости глаза Нектарины не выдержали взгляда девушки. Женщине показалось, что все ее нутро осветили снопом лучей — она не вынесла их яркого света.

Нектарина слегка отвернулась и, презрительно поджав губы, сказала:

— Ты тоже, Гутати! Требуешь вежливости от чумазой девчонки! Что она видела в жизни, кроме золы и грязи? Скажи мне, девка, Тайя был у вас?

«Да, госпожа», — чуть было, по привычке, не ответила девушка, но сдержалась и сказала:

— Да, был.

— Вы посмотрите! — Нектарина с трудом перевела дух. Потом спросила: — А где он сейчас?

— Ушел куда-то.

— Куда ушел, не знаешь?

— Не знаю...

— Ладно, отправляйся! Нет, погоди... Зачем ты пришла сюда?

— Я была у Толисквами, попросила у нее выкройку для кофточки.

Нектарина невольно улыбнулась:

— Также еще, кокетничает! Вздумала принарядиться к пасхе.

Когда девушка вышла, Нектарина сказала, сверкнув глазами:

— Ты что это уставился на нее, как коршун?

Гутати заметил, что госпожа уже несколько «обмякла» и потому ответил без обиняков:

— Уж больно хороша стала девка!

— Ах ты, жадный пес!

Гутати сказал еще смелее:

— Все равно ею воспользуется какой-нибудь грязный мужик, так уж лучше, чтоб ее благодетельствовал такой мужчина, как я.

— Ах ты распутник, распутник!

Нектарина вложила в эти слова весь пыл своей страсти к стоявшему перед ней «распутнику».



Гутати понял, что наступил подходящий момент заговорить о предложении Леварси Квизиниа и, перейдя на серьезный тон, изложил его княгине.

Та даже подскочила от негодования, узнав о намерениях подрядчика. Но Гутати стал уверять ее, что на Тайю нельзя положиться, что он не захочет помочь ей в деле, а вот Квизиниа, несмотря на свое невысокое происхождение, весьма выгодный жених. Нектарина выслушала Гутати, и, как женщина, не лишенная практического ума, согласилась с ним.

Теперь уже пришлось задуматься над тем, как вытравить из сердца Толисквами любовь к Тайе. Ведь до сих пор она сама без устали внушала ей, что она должна выйти за Тайю. «Моя вина, моя вина, что она полюбила его», — сокрушалась Нектарина. Но, по зрелом размышлении, княгиня решила поговорить с Толисквами относительно Леварси, а поскольку тот очень торопился, то и окончить это дело сегодня же. Она приказала Гутати позвать к ней Толисквами.

Управляющий вышел, и теперь мысли Нектарины сосредоточились на нем.

Какой он преданный, этот Гутати, какой жизненный, умелый, предприимчивый! Настоящий мужчина! Он, конечно, лучше всех окружающих ее.

Нектарина хорошо помнила, как ее осудили за то, что она изменила мужу, сделав Гутати своим любовником. Иные даже осмелились хулить ее открыто, в лицо. Но спрашивается, каков был ее муж? Маленький, плюгавый — дохлятина, не человек, и если она вышла за него, то лишь потому, что он был братом Арчила, отца Тайи, в которого Нектарина влюбилась до безумия, еще будучи девушкой. Однако, поскольку ей не удалось выйти за него замуж, она все же добилась своего, то есть вошла в семью Гвиргвилиани и, при живом муже, сблизилась со своим деверем Арчилом. А после того, как он погиб в русско-турецкую войну, Нектарина долго не находила себе утешения. Однако могла ли всю жизнь оставаться одинокой такая женщина, как Нектарина? Ах, почему она не сказала Гутати, чтобы он пришел к ней. Хотя бы в великую пятницу. Правда — это день великого поста и траура. Нектарина лукаво улыбнулась: в четверг она причащается, ну, а в пятницу уже можно... В этом и заключается сладость запретного плода...

Гутати долго искал Толисквами и, наконец, нашел ее в одной из отдаленных комнат дома. Забившись в угол, девушка дрожала всем телом, глаза ее были красны и лихорадочно горели.

— Что случилось? Что с тобой, милая Толисквами? Ты слышала, что говорят о Тайе?

— Не... не знаю, — с трудом пролепетала девушка. Она умолчала о том, что знала: Чела взяла с нее слово никому не говорить о письме Тайи.

— Ничего, ничего, милая. Да и зачем тебе интересоваться Тайей, когда тебя ждет совсем другая судьба. Иди скорее к госпоже, она тебе все расскажет. Ну, да полно, вытри глаза, плакать тебе не о чем! Иди, иди, госпожа ждет тебя.

Толисквами, сделав над собой усилие, вышла из комнаты и, шатаясь, побрела на балкон.

Прочитав письмо Тайи, она перестала понимать что-либо. В ее сознании огненными буквами запечатлелись слова, что она никогда больше не увидит Тайю, что жизнь его висит на волоске. Толисквами чувствовала, что мир померк для нее, что ее ожидает какое-то большое несчастье.

«Он пишет мне — найди свою судьбу. Какую же судьбу я могу найти без него? И в какое это дело вовлечен он?». Так, в полной растерянности, она пришла к княгине.



Та встретила ее необычно ласково.

— Поди ко мне, дитя, отведем вместе душу, оплачем нашего Тайю.

Дрожь охватила девушку.

«Как оплачем? Он умер? Вот почему он писал, что жизнь его висит на волоске... Нет, не может быть!»

— Тайя изменил тебе, детка, — сказала княгиня, — он не пощадил твою чистую, невинную любовь. Но виновата во всем я! Это я свела тебя с ним, пробудила в твоём сердце любовь к этому непутевому человеку. Тайя изменил тебе, променял на другую. Вырвем обе из сердца любовь к нему, он не достоин твоего чувства! Он променял тебя на другую, изменил тебе...

Толисквами пошатнулась. Княгиня бережно поддержала ее.

— Крепись, дитя мое, я знаю, как трудно потерять любимого человека. Пускай бы он лучше умер! Но полно, не стоит больше сокрушаться о нем. А вечером приходи опять ко мне, я хочу поговорить с тобой об одном деле, — княгиня почти силой выпроводила девушку из комнаты. Она хотела сказать ей о предложении Леварси Квизиниа, но, видя горестное лицо девушки, решила: «Пусть сначала отойдет немного, а уж потом я склоню ее и к дальнейшему».

Толисквами ушла, ничего не помня, не соображая; она лишь повторяла слова княгини: «Он променял тебя на другую, изменил тебе...»

«Да, да, это так! — доказывала самой себе девушка. — Тайя что-то скрыл от меня, сочинил, что он вовлечен в какое-то особое дело. А госпожа говорит мне правду, чистую правду».

Толисквами была очень скромного мнения о себе. Что же удивительного в том, что Тайя нашел себе более достойную подругу? Потому и сказала Нектарина: «Он изменил». Как счастлива должна быть девушка, которую избрал Тайя!

Внезапно в ее душе возникло твердое решение.

Она вышла на задний балкон — здесь, к счастью, никого не оказалось. Торопливо спустившись по лестнице, Толисквами побежала в сторону Гурдземии, где, она знала, река образует водоворот.

Во дворе маленький Иеротеос вырезал ножиком на дереве свое имя. Правда, дядя Барам, любивший деревья и цветы, запретил мальчику делать это.

— Иеро, сынок, — говорил ему дядя, — дерево, как человек, ему тоже больно, когда мы с ним плохо обращаемся. Оно плачет, как и мы, погляди-ка!

Увидев Толисквами, мальчик что-то заподозрил и побежал за ней. Когда же девушка бросилась в Гурдземию, он повернул назад и принялся кричать во все горло.

На крик мальчика из дому высыпали люди и, прибежав к берегу, вытащили тонувшую Толисквами из воды.

После этого события о маленьком Иеротеосе узнала вся деревня. Сельчане наперебой ласкали и баловали мальчика: один дарил ему уцелевшее в кладовой прошлогоднее яблочко, другой — сладкую джанджуху, а Гутати даже заставил ребят смастерить для него игрушечные лук и стрелы. Рябинина сшила Иеротеосу рубашку и штанишки из сатина, купленного баронессой. Даже Нектарина как-то мимоходом погладила его по голове.

У мальчика заметно изменился характер. Правда, он был по-прежнему дерзок на язык, но уже перестал дичиться. Даже лицо его утратило



былое угрюмое выражение, и необыкновенно красивые серые глаза загорелись новым светом. Он уже не слонялся отчужденно по двору, смело входил в зал, не испытывая страха даже перед Нектариной. Иногда он подходил к взрослым, сражавшимся в нарды, и внимательно следил за их игрой.

Однажды Иеротеос нашел в зале небольшой ящичек, стенки которого были расписаны желтыми и черными квадратами. Открыв ящик, ребенок обнаружил в нем резные, слоновой кости, белые и красные фигурки. Выложив их на стол, он принялся играть. Вот мальчик столкнул красную фигурку с белой и весело рассмеялся. За этим занятием его застал Вамех.

— Хочешь ты знать, что это такое? — спросил он мальчика.

Тот даже вздрогнул от неожиданности.

Вамех сел, раскрыл доску, расставил фигурки по своим местам.

— Это игра — шахматы, — начал Вамех.

Он сказал мальчику, как называется каждая фигурка, объяснил, что доска — это поле боя, где сражаются игрушечные воины, и каждый из них имеет свой ход и возможность убить противника.

— Ты вот только что столкнул две фигурки. Почему ты это сделал?

— Не знаю... — простодушно ответил Иеротеос.

— А почему у тебя красная повалила белую?

— Я не знаю... Мне больше нравится красная.

Вамех понял, что отдавая предпочтение красной фигурке, мальчик не вкладывал в это никакого смысла, здесь сказалось лишь ребячье увлечение ярким красным цветом. Вамеху понравились прямота и наивность ребенка — он внимательно поглядел на него, словно видел его в первый раз. Показал мальчику ходы на доске и потом сел играть с ним.

К удивлению Вамеха, ребенок прекрасно разобрался в игре. А когда они сыграли несколько партий, дядюшка почувствовал, что племянник явно начинает теснить его.

В это время в зал вошли Барам, Беги и Гутати и с удивлением стали наблюдать за Иеротеосом, делавшим очень осмысленные и смелые ходы.

— Да ты парень с головой, как я погляжу! — воскликнул Барам. — Если проявишь такие же способности к учению, то далеко пойдешь в жизни.

— Надо обучать его, непременно! Я берусь руководить им. Хочешь ты учиться, малыш? — спросил племянника Вамех.

— Отчего же! — коротко, тоном взрослого, ответил тот, как бы не отказываясь от предлагаемого блага, но и не желая принять его, как милость.

Братья Гвиргвилиани лишь молча переглянулись...

...Кесария чувствовала себя на вершине счастья от сознания, что ее сын был теперь в такой милости у всей семьи.

Бесконечную радость испытала она и в тот день, когда спасли от гибели и вернули домой Толисквами. Кесария то и дело прижимала девушку к груди, целовала и голубила ее. Глядя на мать, дал волю своим чувствам и маленький сын:

— Она теперь моя! Ведь правда, мама, она моя, моя! — без конца твердил мальчик.

Кесария не сразу поняла, о чем говорил Иеротеос.

— О чем ты, милый? Кто это — твоя?

— Толисквами.

— Да, сынок, да, родненький, — твоя, конечно твоя, — согласилась мать, — ты ее спас, избавил от смерти. Она никогда не забудет твоего благодеяния.



Наступил великий четверг. В дворовой церкви Гвиргвилиани собралось много народу. Отпевали Иосэ Хабуная, и крестьяне пришли отдать ему последний долг.

Все члены семьи Гвиргвилиани причастились в этот день, за исключением одного Вамеха. Маленький Иеротеос было заупрямился, но Кесария насильно подвела его к священнику и, когда тот влил ему в рот капельку вина и сунул кусок просфоры, мальчик недовольно поморщился.

Отслужили панихиду.

С клироса донеслось стройное пение братьев Гвиргвилиани. Родные и соседи, по обычаю, с громким плачем и стенаниями проводили покойника на кладбище.

Во время службы произошел инцидент, удививший всех собравшихся. Когда к священнику подошла для приобщения Нектарина, она вдруг повернулась лицом к народу и громко воззвала:

— Дети мои, братья, простите, если в чем грешна перед вами! Покорно прошу вас, простите меня.

Барам отозвался первым: «Бог простит, невестушка!». — И уже после этого загудели все остальные.

— Бог простит, бог простит! — повторяли люди на разные лады.

Когда о случившемся узнали крестьяне, стоявшие во дворе, они усмехнулись: «Коварная женщина наша госпожа!»

Одна Толисквами не присутствовала сегодня на обедне. После того, как ее вытащили из воды и привели домой, она уединилась в своей комнатке, никуда не выходила и никого не впускала к себе, за исключением старой няни и Кесарии. Дагмара и Марина зашли как-то проведать ее, но она так застыдилась, что они не смогли добиться от нее ни слова. После этого уже никто из родных не беспокоил ее своим посещением. Дзилхана приносила девушке завтрак и обед, но та первое время почти не прикасалась к еде. Лишь постепенно, уговорами и лаской старухе все же удалось заставить девушку поесть.

Дзилхана ни о чем не заговаривала с ней, не вспоминала о случившемся и уж, конечно, ни словом не обмолвилась о Тайе. Так наказывала ей госпожа. Старая няня обращалась с Толисквами как с тяжело больной. Она то принималась рассказывать ей какую-нибудь сказочку, то вспоминала старинную веселую частушку, но обрывала их на полуслове, заметив, что девушка не слушала ее. Не слушала не потому, что думала о чем-нибудь. Напротив, она казалась совершенно опустошенной — об этом свидетельствовало бессмысленное выражение ее глаз. Состояние девушки очень пугало старую Дзилхану, и она делилась своими опасениями с госпожой. Но та успокаивала старуху: «Ничего, ничего, не сойдет с ума, ты только постарайся, чтобы она ела. Как можно больше ела и спала».

Но Толисквами и спала очень неважно. Бывало, ляжет, закроет глаза — и вдруг снова вскочит и бессмысленно уставится в одну точку. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее не навестила Кесария.

Нектарине пришлось не по душе это посещение. Она упрекнула Дзилхану — зачем та пустила невестку к больной. Но старуха стала оправдываться:

— Уж так она пристала — пусти да пусти меня к ней, ведь ее спас мой сын, мой ненаглядный Иеротеос. Я сначала и в толк не взяла, по ком у ней душа болит — по Толисквами или по малому сыну? И имя-то какое, не выговоришь! Но все же я пожалела и пустила ее. С тех пор она каждый день бывает у девушки и, прямо скажу, голубка наша и спит лучше и спокойнее стала.

— Ну, коли так, пусть ходит. Как для Толисквами лучше, так и по-



ступай, — распорядилась Нектарина, подумав: «Кесария делает мое дело. Я, правда, не поручала ей, но тем лучше! Если так пойдет, то я скоро сумею склонить Толисквами к замужеству». И Нектарина решила в ближайшие же дни поговорить с девушкой.

Толисквами сидела в своей комнате, устремив взгляд в одну точку. Дзилхана только что убрала со стола и вышла. Дверь за старухой осталась незапертой.

К дверям подошел Иеротеос, заглянул в комнату и, увидев, что Толисквами одна, не утерпел и вошел, хоть ему это и было строго запрещено. Девушка не обратила на него никакого внимания. Тогда он подкрался к ней и положил руку на плечо. Толисквами вскрикнула от испуга, но, увидев мальчика, успокоилась и кротко улыбнулась. А Иеротеос, сжав ладонями щеки девушки, заглянул ей в самые глаза:

— Теперь ты моя, моя, Толисквами! — и он стал целовать ее в глаза, в лоб, в щеки.

Толисквами не ответила на поцелуй мальчика, только ласково погладила его по голове.

В это время за дверьми послышался голос Кесарии:

— Иеротеос, где ты, сынок?

— Он здесь, тетенька! — крикнула девушка.

— Ах, ты здесь, мой мальчик! — сказала, входя, Кесария. — Если бы ты знала, как он любит тебя, Толисквами!

Девушка тяжело вздохнула:

— Знаю, знаю, он чуть не задушил меня.

— Что у него за привычка мучить людей! — посетовала Кесария. — А тебе сейчас лучше, не правда ли, голубка? — спросила она Толисквами.

Девушка горько улыбнулась. Кесария заметила, что больной было сейчас не до них. Она тотчас же взяла сына за руку и вывела его из комнаты. Мальчик отыскал подаренные ему лук и стрелы, выбежал во двор и принялся стрелять воробьев.

Оставшись одна, Толисквами снова отдалась своим думам. Теперь уже нельзя было сказать, что душа ее опустошена. Мысли ее беспорядочно металась, ища и не находя выхода, как река в половодье, бьющая в крутые берега. И по-прежнему думалось о Тайе.

Как ей жить и что делать без него? Она хотела покончить с собой, но ей помешали. И откуда взялся тогда этот маленький горбун, зачем он спас ее? Чувство ненависти к мальчику охватило девушку. А куда скрылся Тайя? Кто знает, он, может, счастлив сейчас со своей любимой?

Дрожь охватила девушку. Зачем ей жить, какая у нее теперь цель в жизни? И к чему она может приложить свои силы?

Толисквами ничего не могла придумать. Наконец, она пришла к заключению, что должна посвятить свою жизнь служению Нектарине. Ведь как-никак та — ее благодетельница. Толисквами должна отплатить ей добром за добро. Ведь вот, Дзилхана как предана госпоже... Будет предана и она, Толисквами.

Нельзя сказать, чтобы эта мысль успокоила девушку, но у нее не было другого выхода. «Посвящу свою жизнь княгине, буду исполнять все, что она прикажет». Но тут же она подумала: «Только что это будет за жизнь? Похоже на собачью преданность». Но что делать, когда ничего другого у нее нет? Покончить с собой? При этой мысли девушка вся содрогнулась. Она хорошо помнит — когда она бросилась в Гурдземию, ей на миг стало жаль расставаться с жизнью. Даже больше — она стала бороться с волнами, не хотела тонуть. И в этот момент ее спасли. Нет, нет, покончить с собой она не может! Надо служить Нектарине. И теперь



уже девушка думала о том, чем бы она могла доставить удовольствие своей благодетельнице.

Толисквами встала и прошлась по комнате. Заглянула в маленькое зеркальце, увидела свое худое, бледное, измученное лицо. Присела на стул и глухо застонала.

— Ты что это? Опять плачешь? — неожиданно услышала она голос Нектарины.

Девушка вскочила. Впервые за все это время вошла к ней Нектарина, ее благодетельница, а отныне и повелительница. И вот теперь настало время — Толисквами ждет ее приказаний. Но Нектарина обняла ее и поцеловала в лоб.

Впервые за всю жизнь поцеловала ее приемная мать. Этот поцелуй удивил и в то же время растрогал девушку. Нектарина села на тахту, усадила рядом с собой Толисквами, заговорила:

— Я знаю, дитя, в каком ты сейчас настроении, — ведь мы не виделись с того дня. Ты похудела немножко, побледнела — да это и не удивительно. Но это временное, пройдет. Я хорошо знаю, что значит потерять любимого человека, — я это испытала сама, но, как видишь, рук на себя не наложила. И ты не должна больше повторять подобную глупость. Ах ты гадкая, гадкая девочка! — и тут Нектарина слегка потянула Толисквами за ухо. — Одно запомни крепко: что бы ни случилось с тобой в жизни, слышишь, — что бы ни случилось! — к самоубийству прибегать нельзя. Этого не разрешает нам и наша вера. Ну, а что может быть лучше жизни? Поверь мне, лучше жизни ничего нет! Но оставим это. Ты теперь уже не маленькая, Толисквами, должна подумать о своей судьбе. Тебе нужен в жизни друг, руководитель. Я же не всегда смогу опекать тебя. Состарилась я уже...

Толисквами прижалась к груди Нектарины, поцеловала ей руку. Та поняла, что ласка была искренней, и продолжала:

— Да, это так... Но ты согласишься моему слову, послушаешься меня?

— Как же не послушаться?! — со слабой улыбкой ответила Толисквами. Девушка хотела было сказать о своем решении, но Нектарина перебила ее:

— Ты должна выйти замуж, дитя мое.

Толисквами чуть не вскрикнула: всего ожидала она, только не этого! А Нектарина продолжала, не давая ей опомниться:

— Да, выйти замуж и стать счастливой женщиной. Ты должна найти свою судьбу.

Об этом писал ей и Тайя! Но почему думают так одинаково совершенно разные люди! Толисквами совсем растерялась...

— А я уже выбрала тебе жениха, — сказала Нектарина. — Будешь жить у него по-царски, в богатстве и холе.

Толисквами осмелилась пролепетать:

— Я хочу быть с вами, маменька.

— Будешь и со мной. То ты у меня, то я у тебя... Я же не за тридцать земель отдаю тебя. Будешь жить в городе, еще более культурной жизнью, чем здесь. Только пожелай, а отказу не будет ни в чем. В руках такого мужа как Леварси Квизиния ты будешь счастлива.

— Леварси?! — вырвалось у девушки.

Нектарина заметила, с каким отвращением произнесла девушка это имя.

— Я понимаю, он сейчас даже противен тебе.

Толисквами невольно улыбнулась. Она вспомнила, как однажды, в присутствии иностранных гостей, Леварси танцевал кадрили в зале. Как



неуклюже скакал он в своей суконной чохе с позолоченными газырями, какой у него был смешной и нелепый вид.

— Чего ты смеешься? Правда, Леварси не может похвалиться внешностью, но зато он — мужчина в полном смысле слова — богатый, умный, предприимчивый, а это много значит в жизни. Богатство — великая сила, дитя мое. Ты вот сейчас не любишь его — да и не можешь любить, само собой. Ты пока даже питаешь к нему отвращение, но для такой сиротки, как ты, он будет превосходным мужем.

Снова хаос воцарился в душе Толисквами. Она опять перестала понимать что-либо. А Нектарина продолжала:

— Вот и я вышла за бедного Самсона, не любя его, и посмотри, какая я сейчас счастливая, выше всех стою в нашей округе. И ты так будешь, дитя мое.

Нектарина снова прижала девушку к груди, поцеловала ее в глаза. И впрямь, коварная была женщина княгиня! Никто не помнил от нее ласки, а тем более Толисквами. Девушку удивляло поведение приемной матери, но в то же время она поддавалась ее ласкам, внушениям, уговорам, совершенно не предвидя, что сулило ей будущее. В конце концов, Толисквами согласилась с доводами своей благодетельницы.

— Как вам будет угодно, маменька, — покорно сказала она.

Нектарина вышла из комнаты с чувством победительницы.

Теперь уже в голове княгини кружились совсем другие мысли. Сегодня она узнала, что Тайя совсем уехал из Бертеми, не повидав своих, не послав им привета, даже весточки о себе. И впрямь, отбился от рук парнишка! Прав Гутати говоря, что он уже «не нашего поля ягодка». Ну и пусть провалится в тартарары!

Нектарина все же не оставит своего намерения — создать майорат. Для этого у нее имеются все данные. Взять хотя бы одно то, что Бертеми целиком принадлежит им, князьям Гвиргвилиани. О двух-трех дворянских семьях, поселившихся на их землях, не стоит и говорить, а тем более о крестьянах, бывших крепостных. Есть у них земли и в деревнях Ушapati и Ледзадземе. Что ей может помешать округлить имение? Сюда скоро прибудет землемер. Гутати и оба шурина уверяют ее, что многие земли, в результате нового обмера, могут отойти к ним.

Значит, никаких помех! Тайя отпал, но зато имеется Беги. Он еще не женат, ну, чем не жених, спрашивается? Правда, легкомыслен малость, но, ставши владельцем большого имения, остепенится, приобретет вес и влияние в обществе. И, кто знает, может в свое время будет избран уездным маршалом. Да, но как тогда быть с частью Тайи? Парень, оказывается, до того опустился, что занял деньги на расходы у Бенойи. Дурак он, дурак! У такого можно будет откупить часть за бесценок, что и не замедлит сделать Беги.

Так размышляла Нектарина, очень довольная тем, что хорошо разрешила дела своей семьи, счастливо обернула и судьбу Толисквами. Как раз в эту минуту ей доложили, что пожаловали князя Барам и Беги и хотят говорить с нею.

Нектарина приняла шуринов в своей комнате и приказала служанке не впускать никого, кроме управляющего. Узнав, что тот отправился в деревню Ушapati для переговоров с хизанами, она обратилась к князьям:

— Когда же будет конец этой несчастной тяжбе? Доконает она нас, в гроб сведет!

— Тяжба с хизанами уже, можно сказать, кончилась. На днях сюда прибудет землемер и разрешит этот вопрос, — пояснил Барам.

— Знаю, дорогой, и сама на это надеюсь. Но так ли будет на самом деле?



— Именно так! Государь издал новый закон, и теперь все зависит от межевания земель.

— Дай бог тебе здоровья, дорогой Барам, но мы-то разорены! Вы считали когда-нибудь, во что обошлось нам ведение этого дела в судах, в сенате и в других местах? Когда я вошла в ваш дом, дело вел ваш покойный брат Арчил, потом вы оба и мой бедный муж. Делу не видать конца, а нам одно разоренье!

— Делу наступил конец, княгиня-матушка, и больше о нем не думай, не тужи. Сейчас мы пришли поговорить совсем о другом.

Нектарина пристально взгляделась в лица шуринов, словно желая детальнее изучить их. Оба и впрямь были хороши собою: Барам — старше, с седой бородой, с красивым мужественным лицом, Беги — значительно моложе, с изящно подстриженными бородкой и усами. Оба — среднего роста, осанистые и плечистые, у обоих одинаковые — изумительной красоты — гвиргвилиановские глаза. Обоим очень шли чоха с архалуком, особенно Беги, тонкий стан которого был шегольски перетянут серебряным поясом.

Нектарина внимательно пригляделась к нему. «Подойдет, вполне подойдет!», — мелькнуло у нее. И она стала мысленно подыскивать ему невесту. Кого бы? Кого? Она вспомнила живущие поблизости княжеские семьи, но не остановилась ни на одной. И вдруг ее осенило: «Да вот тут же, под рукой, русская девушка, привезенная ее сестрой из Петербурга. Она, говорят, из богатой, очень влиятельной семьи. Чего же лучше?»

Братья ждали, когда Нектарина разрешит им заговорить. Наконец, Барам спросил:

— Можно?

Княгиня, словно очнувшись от своих мыслей, молвила:

— Прошу!

Барам начал:

— Мы пришли поговорить насчет мальчика, сына нашей Кесарии.

Нектарина приняла грозный вид:

— Насчет кого? Этого незаконного ублюдка Чаа?

— Что ты, княгиня-матушка, время ли сейчас вспоминать об этом? Все уже давно забыли эту историю. А Кесария нам родная сестра, кровь и плоть наша.

— Что же вам угодно?

— А то, что парень этот, видать, способный. Грешно оставлять его без учения.

— А я что могу?

— Ты-то одна, конечно, ничего, но все мы сообща... Сейчас вот мы едем в Кутаиси получать от иностранцев деньги. Отложим каждый по-немногу в пользу мальчика.

— Доброе у тебя сердце, Барам! Тебе бы лучше подумать о своем любимом лесе.

— Смеешься, княгиня! Мне не привыкать, но оставим этот разговор. Лес лесом, а о человеке следует позаботиться, особенно о своем.

На это княгиня многое могла бы возразить, но решила не обострять отношений с близкими в эти праздничные дни; к тому же она была сейчас в отличном настроении и потому лишь осведомилась у младшего шурина:

— А ты, Беги, какого мнения?

— Я, княгиня?.. Вначале и я был против. Ты, верно, помнишь, из-за этого Чаа я отстегал Кесарию собственным хлыстом. Хоть она и сестра, но я не пощадил ее. Потом уже прошло много времени, и Вамех помирил нас. А теперь к тому же я слышу, что мальчик способный. Что я могу



иметь против? Не то что мы, свои, даже гостья наша — Рябинина — и та посоветовала: когда получите деньги, — отложите часть на воспитание ребенка.

— Рябинина? — Нектарина бросила на Беги лукавый взгляд и довольная усмешка скользнула по ее губам. — Да, Рябинина — умная женщина!

— Мы потому побеспокоили тебя, — снова вмешался в разговор Барам, — что подошли праздники, наедут гости, будет не до деловых разговоров. Да и ты, кажется, собираешься в Бандзу.

— Да, собираюсь. Если не навещу Марту, двоюродную сестру, — она, того и гляди, со свету меня сживет.

— Само собой, дорогая невестка. Мы отправимся вместе с тобой. Наверное, и баронесса с Дагмарой поедут.

— И Марина собирается, — добавил Беги.

Снова улыбка удовлетворения озарила лицо Нектарины.

— Ну, конечно, не оставаться же ей здесь, — подтвердил Барам. — Потому мы и решили поговорить сейчас.

— О чем поговорить? — снова с раздражением спросила Нектарина. — Скажу вам прямо, я все еще очень сердита на Кесарию. Опозорила она нас, втоптала в грязь имя великого Отиа.

«А ты-то сама? — подумал Барам. — Сначала вступила в постыдную связь со своим шурином, а теперь у тебя любовником управляющий. Это ли меньший позор, а об этом, слава богу, знает весь свет!»

Но Барам промолчал, зная, что из разговора ничего, кроме неприятностей, не получится.

Нектарина продолжала:

— Что правда, то правда, ребенок не при чем, и если все вы пожелали, и даже наша гостья советует, — княгиня снова покосилась на Беги, — то я, со своей стороны, выделю на это дело пятьсот рублей.

Шурины хранили молчание.

— Что же, это мало? Нет, дорогие мои, я деньгами швыряться не могу!

— И еще одно, — продолжал после некоторого колебания Барам, — мы хотим выделить мальчику усадебный участок, и надобно твое согласие.

Тут уже Нектарина вскинулась на дыбы:

— Как! Уж не думаете ли вы поселить у меня здесь Кесарию, позор нашей семьи?

— Не подобает тебе, княгиня!.. Что было — было, теперь она служит семье верой и правдой.

— Полно, будет вам, ради бога! Сестра она вам родная, а вы до сих пор не узнали ее нрава. Такая бестия всю деревню замутит.

— К чему такие речи, Нектарина? — сохраняя сдержанность, продолжал Барам. — Что может бедная Кесария, да еще против тебя?

— А ты, Беги, что думаешь об этом?

Беги пожал плечами, как бы не зная, что ответить, но за него сказал Барам:

— Беги тоже не вполне согласен, но... дело это необходимо сделать, — произнес Барам с таким непреклонным выражением, что Нектарина не стала больше упираться и только сказала:

— Как вам будет угодно, господа, — из своей части вы можете выделить ему усадьбу, но уж я — извините — и пяди земли не уступлю незаконному сыну Кесарии.

Наступило тягостное молчание. Нектарина глубоко вздохнула и заговорила снова:

— Как же это так, милые мои? Вы разбазариваете ваши земли, а



меня ни о чем не спрашиваете? Вам хорошо известно мое намерение. Поскольку все мы бездетны, и у нас был один только Тайя, этот осрамившийся мальчишка, то я и прочила его в наследники. Против этого не возражали и вы. Я решила объединить все наши имения в одно большое поместье — вроде тех, какими владеют русские помещики, хотела испросить у государя право на майорат. А теперь что же получается? Тайя зарезал нас без ножа — он, видимо, встал на какой-то злосчастный путь. Но я своим намереньем поступиться не могу. Теперь я решила следующее: Тайя отпал — ну и черт с ним! Но вы-то ведь здесь, со мной, оба брата. Одно, во всяком случае, ясно: Вамех в этом деле не пригодится. Он человек совсем иных взглядов, к тому же, лишенный прав. Ты, дорогой Барам... Не взыщи, но и ты не подойдешь. Ты уже в летах и вряд ли теперь женишься.

Барам добродушно улыбнулся и кивнул в знак согласия.

— Значит, остается Беги...

Беги слегка шелохнулся, чувствуя, что Нектарина собирается сказать ему нечто очень приятное. Он с удовольствием оправил висевший на поясе изящный кинжал и весь превратился в слух.

— Беги — настоящий мужчина. Он был бы еще лучше, если б не ветер в голове.

Услышав слова «ветер в голове», Беги попытался улыбнуться, но вместо улыбки у него получилась кислая гримаса.

— Но это ничего, в свое время среди местных князей он станет в полном смысле мужчиной. Может, наступит время, и на него будут с завистью указывать: огромное поместье, прекрасный дворец... Все это будет принадлежать ему. Дело теперь в том, чтобы женить его.

Разговор о женитьбе пришелся Беги не совсем по душе. Ему показалось, что Нектарина, чего доброго, захочет выдать Толисквами за него. С Толисквами он рос, но никогда не смотрел на нее, как на женщину, даже тогда, когда она выросла и расцвела на его глазах. И потому Беги испугался, как бы княгиня не вздумала женить его на ней. Но в ту же минуту у него мелькнула мысль: «К черту, пусть будет Толисквами, хоть она и сопливая девчонка! Если я буду богат и знатен — это ничего... Как-нибудь да стерпится».

Но Нектарина сказала совсем другое:

— Я думаю, будет не плохо, если Беги женится на Марине Рябининой.

Эти слова прозвучали для обоих братьев, как гром среди ясного неба. Они стояли, не в силах вымолвить слова, а Нектарина продолжала:

— Девушка — воплощенное изящество, умная, образованная, из знатной семьи. Уверяю тебя, со временем она будет пользоваться в Петербурге не меньшим влиянием, чем моя сестра — баронесса.

Беги уже пришел в себя. Он был охвачен радостью, но не мог не высказать сомнения:

— Что ты, что ты, княгиня! Разве пойдет она за меня — эта упавшая с неба звезда?

— Об этом не беспокойся, дорогой! — с улыбкой ответила Нектарина. — Видали мы эти звезды. Или ты думаешь, я не замечаю, как она ластится к тебе?

— Нет, княгиня-матушка, нет! Где я, где она! Я — вышедший из четвертого класса деревенский князь, а она — петербургская аристократка с высшим образованием.

Нектарина громко рассмеялась:

— Я думала, у тебя больше опыта, парень! Я научу тебя одной вещи — она сама тебе на шею повесится.



Беги улыбнулся, а Барам спросил:  
— А что ты думаешь о судьбе Толисквами? Как она, бедняжка?  
— Толисквами я выдаю замуж.  
— Ух, что может быть лучше! Благое это дело, но... — У Барама чуть не вырвалось: «Коварная ты женщина!», но он сказал: — Мудрая ты женщина. Кого ты ей подыскала, княгиня?  
— Кого? Да вот нашего Леварси Квизиниа.  
— Ух! — снова вырвалось у Беги.  
— А что? Не нравится? Это потому, что он из бывших крепостных?  
— Да нет, как можно, княгиня! — вмешался в разговор Барам. — Ты это очень умно придумала. Он богатый человек, с отличным положением, и будет содержать жену как нельзя лучше. Что из того, что он из бывших крепостных? На это никто теперь не обращает внимания.  
— Вот я и действую по новой моде! — со смехом сказала Нектарина. Князья расхохотались.

18.

Простившись с Нектаринной, Барам направился домой. В проулке он встретил Вамеха, тоже возвращавшегося к себе. Им было по пути, и они пошли вместе.

Вамех любил старшего брата за кроткий нрав и человеколюбие, за то, что он не чуждался народа и даже заслужил его любовь и уважение. Барам не походил на остальных князей округи — надменных, недоступных, беззастенчиво притеснявших крестьян. Ни одна крестьянская свадьба, ни одни похороны не обходились без его участия. В минуты нужды крестьяне обращались к нему за советом, за помощью, и он всегда охотно шел им навстречу. Не лишен был Барам и организаторских способностей: нужно ли было построить мост через реку или провести дорогу — всеми такими делами руководил на селе Барам. За что бы он ни взялся, он делал все быстро, толково, осмотрительно. Никто не слышал от него высокомерного слова — он всегда находил повод для шутки, умел развлечь крестьян, отчего спорилась и шла веселей совместная работа.

За все эти качества, помимо чисто родственной привязанности, и любил Вамех старшего брата.

— Вот хорошо, что мы встретились! — воскликнул Вамех. — Я как раз хотел видеть тебя. Откуда ты?

— Мы с Беги были у Нектарины, советовались относительно сына Кесарии. Помнишь, ты сказал, что надо обучать мальчика. Слова эти мне крепко запомнились, но я решил, что незачем из-за этого беспокоить тебя — ведь мы должны на днях получить деньги. Из этих-то денег и отложим каждый.

— Доброе у тебя сердце, Барам! А другие?

— Беги я склонил кое-как, но требовалось согласие Нектарины.

— И что же? — уже несколько насмешливо спросил Вамех. — Впрочем, я знаю, что она могла ответить.

— Она, по обыкновению, начала поносить Кесарию — та-де опозорила семью...

— А себя позабыла? Известное дело — в чужом глазу видим сучок, а в собственном не замечаем и бревна. Ну и из-за этого отказалась помочь?

— Да нет, с грехом пополам, а пятьсот рублей все же дала.

— Большая она скряга, наша невестка!

— Мы еще думали выделить мальчику усадебный участок, но тут



уже она отказала наотрез: пусть, говорит, тот, кому угодно, выделит из своей части, но я — ни под каким видом!

— Конечно, доброты в ней не ищи, но поступила она правильно.

— Что же тут правильного?

— А то, что когда Иеротеос вырастет, собственности уже не будет.

— Что ты, что ты, Вамех!

— Говорю тебе! Но Нектарина, разумеется, не это имела в виду: она бредит майоратом.

— Объясни мне, бога ради, что такое майорат? Я слышал, это какое-то выгодное предприятие, но все забывал спросить у тебя.

— Майорат, дорогой, это имение, которое владелец не может ни продать, ни заложить. Так оно и переходит от отца к сыну в неприкосновенном виде — если только не испросить у царя особого разрешения на продажу.

— Хорошее дело! Нектарина женщина с головой. Она вот и нынче вспомнила о майорате. Я, говорит, хочу округлить имение, а вы разбазариваете его, разрываете на куски.

— А на что ей майорат, когда в семье уже нет Тайи?

— Ему нашли замену...

— Вот как? Кого же?

— Беги.

— Ого!

— Теперь Беги станет нашим наследником. Княгиня исходатайствует ему право на майорат и рассчитывает в этом деле на помощь своей сестры Минадоры.

— Что же, она теперь выдаст Толисквами за Беги?

— Нет, Толисквами прочат за Леварси Квизиниа.

— Да ну! И девушка согласна?

— Я ее не видел, не знаю, но говорят, с тех пор, как ее спасли, она сама не своя. Бедняжка и так была безответна, а теперь и вовсе подпала под влияние своей «маменьки» Нектарины.

— Несчастливая девочка!

— А Беги тоже подыскали невесту.

— Кого же?

— Марину Рябинину.

— Вот это — хорошее дело! Марина живая, одаренная девушка... Но согласится ли она выйти за Беги? А, впрочем, почему бы и нет? Она, к тому же, и настроена несколько романтически. Для него это блестящая партия. Сам понимаешь — Петербург, высшее общество. Он там пообтешется, приобретет лоск. Нет, это неплохо придумано! А что до майората, то чорт с ним! Очень скоро собственность уничтожится — запомни мое слово, Барам!

— Как это так?

— А так, что все будет принадлежать народу.

— Ну, коли так, то... разве я не принадлежу к народу?

— Ты, Барам, князь. Правда, у тебя доброе сердце и немало других хороших качеств, но ты не обрабатываешь свое поле, свой виноградник собственными руками.

— Ну и что из этого? Если у меня работает другой, то я отдаю ему часть урожая.

— Нет, Барам, земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает. А мы, князья, — народ обреченный. Говоря «мы», я, конечно, не имею в виду себя — я лишен всяких прав. Но вообще, дворянство и у нас в Грузии и в России обречено бесповоротно. Неужели ты не знаешь, что в народе уже



начались волнения, что на заводах и фабриках организуются рабочие, а в деревнях — крестьяне. Или ты не обращаешь на это внимания?

— Да нет, кое-что я слышал. Говорят, в Гурии начались беспорядки, крестьяне не отдают урожая, и князя Гуриели пошли на уступки.

— Предусмотрительно поступили.

— Нет, братец, тут что-то не так! Спрашивается, почему это ревнители новых порядков подступают к нам — особенно здесь, в Мегрелии, где богат один Мегрельский князь, а мы, остальные князья, чем мы владеем? — Барам разгорячился. — Ежели они такие молодцы, то пусть отбирают не у меня, а у русского императора — богатейшего помещика империи. А я, коли на то пошло, даю тебе слово, все, что у меня имеется, в ту же минуту отдам крестьянам.

— Настанет и этот день, Барам!

— Что?

— Императора сбросят.

— Ну, это уж слишком, дорогой!

Вамех рассмеялся:

— Что это будет так, для меня яснее ясного. Но я не об этом хотел говорить с тобой сейчас. Мне хотелось замолвить слово о твоём лесе — том самом, что примыкает к твоему двору.

— Нет, нет, Вамех, относительно леса и не заикайся! Сам знаешь, как я тебя люблю, верю каждому твоему слову, но этот лес никогда не продам и не заложу, — возразил Барам и добавил шутливо: — Это мой майорат.

— Да нет, Барам, я не собираюсь говорить ни о продаже, ни о залоге, напротив, я хочу, чтобы этот лес принес тебе хороший доход.

— Ничего не понимаю! Не продашь, не заложешь, не порубишь, — какой же он может принести доход в таком случае?

— А вот какой: ты должен развести в нем грибы.

— Грибов и сейчас в нем видимо-невидимо. Меня беспокоит, что они появляются на деревьях и губят их.

— Я не о таких, я о съедобных, которые жарят, пекут, тушат, из которых выделывают консервы.

— Ну, и кому же они понадобятся?

— Многим, очень многим. У нас, правда, грибы не особенно в ходу, но в России их можно сбывать сотнями тысяч. Твой лес, может быть, даже и не удовлетворит всего спроса, зато ты получишь немалый доход.

— Но как я должен развести их? Посеять? Посадить?

— Ты только дай согласие, а я тебе объясню, что да как.

— Тебе, Вамех, человек поверит и с закрытыми глазами, но я вижу, что ты хочешь создать у меня грибной майорат. Ха, ха, ха! Мне претило твое куроводство, а ты теперь хочешь сделать меня грибоводом?

Братья рассмеялись.

Барам спросил:

— В самом деле, как у тебя с курами? Нет ли каких помех в связи со смертью Иосэ? И что поделывает этот твой дьявольский ящик — как его там?..

— Инкубатор. Пора бы тебе запомнить!

— Он тебе очень пригодился. Лучшего желать не надо!

— Да нет, я намерен усовершенствовать его. На днях собираюсь в Тбилиси — повидать Николадзе. Он, говорят, очень сведущ в этом деле. Думаю создать всегрузинское общество куроводов.

— Как это — едешь в Тбилиси? А в Кутаиси? Или не хочешь получить свою часть?



— Мою часть? Но мне, как лишенному прав, не выделит закон, а если б даже и выделил, я бы не взял. Пользуйтесь вы!

— Странный ты человек, Вамех! Неужто ты думаешь существовать куроводством?

— Может быть и твоими грибами! Вот съезжу в Тбилиси и там уточню этот вопрос. Производства грибов там нет, но я найду специалистов и все в точности сообщу тебе.

Братья подошли к перекрестку и стали прощаться.

— Относительно беспорядков в Тбилиси ты слышал что-нибудь достоверно? — спросил Барам.

— Ладно, будет тебе! — с улыбкой ответил Вамех, и братья разошлись.

Барам открыл свою калитку. Как и все дворы в усадьбах князей Гвиргвилиани, его двор был обширный, с воротами, далеко отстоящими от дома. Дом — небольшой, деревянный, позади, за колодцем, кухня — вот и вся усадьба. Напротив калитки рядами был уложен сизо-голубой камень, предназначенный для постройки нового дома. Обычно один вид этих камней наполнял душу Барама радостью, но сейчас ему стало как-то не по себе.

«Как я был глуп, когда вознамерился построить себе дом, да еще из такого камня! На кой черт он мне, спрашивается? Нектарина права — детей у меня нет, а жениться я больше не собираюсь».

Барам вспомнил, что в глубине души он тоже мечтал оставить свой новый дом Тайе. А теперь? Теперь и Тайя отошел в сторону, а, главное, оказывается, очень скоро не будет и собственности — все перейдет в руки народа. Так пусть народ сам выстроит себе дома, какие пожелает, мне-то чего разоряться?

Он перевел взгляд на лес — густой, высокий лес, окружавший его двор, — и радость наполнила его душу.

Спустя минуту он уже вступил под его тенистую сень. Везде здесь чувствовалась рука заботливого хозяина и лишь местами он нарочно оставил густую, колючую заросль. Лес занимал не более десяти кцев<sup>1</sup>, но Барам дорожил тем, что, за исключением нескольких дубов, каждое дерево здесь было высажено его рукой, выращено его заботами.

Начал он разводить этот лес после того, как разделился с братьями. Бараму в ту пору едва минуло шестнадцать лет, Беги — восемь. Тогда, по обычаю, к Беги перешел дедовский двор с крепостью, с домом из трех комнат, кухней, кукурузниками и другими хозяйственными постройками. Мать тогда переселилась к Беги.

Дом его, высившийся на пригорке, у подножья крутой Лебаркалэ, казалось, горделиво озирает высокий склон, поодаль, внизу, старинную церковь, отошедшую к владениям Нектарины, и всю Бертемскую низину. В родовом замке после смерти матери никто не жил. Один только бывший батрак, теперь дряхлый старик, еще бродил по двору. Сам же Беги навещался сюда лишь изредка, находясь большей частью в доме своей невестки Нектарины.

Этот дом был построен еще Арчилем, отцом Тайи. После раздела Арчил перевел к себе брата Самсона с женой Нектаринной. В это время Арчил уже был вдовцом, маленький Тайя требовал ухода, сам он, как военный, проводил большую часть времени в армии. Кому же он мог доверить свой дом, как не родному брату и его жене? Это было желанием и самой Нектарины.

<sup>1</sup> Кцева — грузинская мера площади, равная 4000 кв. м.



Не говоря уже о другом, дом этот походил на дворец. Он был построен во второй половине девятнадцатого века, когда состоятельные князья Мегрелии стали возводить себе большие дома европейского типа.

Двухэтажный дом Нектарины состоял из двенадцати комнат и двух больших балконов — переднего и заднего. Внизу помещался так называемый палати<sup>1</sup>, сложенный из прибрежного камня. Здесь находились комнаты для гостей, небольшой марани и кладовая для хранения домашних вещей. Наверху был зал с большим камином, отделанным причудливой резьбой. Лицевая сторона его представляла собой солнечный диск, а по бокам рельефно выделялись фигуры сказочных крылатых зверей. Весь зал был оклеен желтыми обоями, на гладком фоне которых мелькали синеватые диски, изображавшие солнце. В зале стоял большой, круглый раздвижной стол со стульями, а вдоль стен теснились тахты всевозможных размеров. В простенке между двух окон висело большое зеркало в старинной раме, отражавшее человека во весь рост. Налево от зала находилась довольно просторная гостиная с широким камином. Здесь стоял нелепо выглядывший диван с изогнутыми ножками, перед ним — овальный стол с несколькими стульями. Комната была оклеена оригинальными обоями: с голубого поля на присутствующих глядели раскосыми глазами китаянки с зонтиками в руках. Все комнаты, за исключением нескольких задних, были просторные, с высокими потолками и дверьми; тахты, покрытые дорогими паласами и коврами, составляли все их убранство. По коврам были разбросаны бархатные подушки, расшитые серебристой и золотистой тесьмой и цветастым шелком. Богаче других выглядела комната Нектарины. Здесь стояла черная двухспальная, европейского типа, кровать с пуховым тюфяком и одеялом. В одном углу приютился пузатый красного цвета шкаф, на котором были расставлены пузырьки и флаконы с благовонными маслами, духами и мазями. Над шкафом висело довольно большое зеркало в овальной серебряной раме. Каждое утро, сидя перед ним, Нектарина тщательно ухаживала за своим лицом, здесь же проводила она и свой досуг.

Таков был этот дом, своими размерами и добротностью превосходивший постройки не только Бертеми, но и всех окрестных деревень.

Итак, Барам вошел в свой лес. Что же это был за лес? Дремучий, словно хранящий в своих недрах какую-то большую тайну. Тут он устремил вверх высокие стволы, там — опустил на землю частые, густые ветви, а поодаль стоит дерево с извилистым стволом, протянув вперед свои сучья, словно желая обнять соседнее дерево. И какая чарующая тишина стоит в лесу, как таинственно шелестят порой листья, беседуя между собой! Хотя весна только началась, но весь лес уже охвачен зеленым пожаром. На ветвях бука, вяза, дуба стремительно раскрылись яркие, режущие глаз, зеленые почки.

«Пойду, проведу свой дуб, — решил Барам. — Он посажен не мной, моим прадедом, но я его люблю не меньше своих питомцев». И Барам двинулся в темную глубь леса. Он дошел до небольшой полянки, где молодые деревья, отступив от древнего патриарха, образовали поодаль дружный круг. Дуб высился среди них, подобно великану. Ствол его, обхватом в три сажени, был как бы расколот на три ствола, каждый из которых широко раскинул свои ветви, походившие на отдельные деревья. Ветви дуба объемлют, словно ласково затевают молодую поросль. Не отнимают ли они у нее свет? Барам, приглядевшись, увидел, что меж стеблей струятся тонкие, трепетные столбики света. Внизу корни ду-

<sup>1</sup> П а л а т и — в Западной Грузии — нижний, сложенный из камня, этаж дома.



За взбугрились, подобно согнутым коленям, и иные такой толщины, что на них смело могут поместиться пять человек.

Барам сел. Земля вокруг была покрыта прошлогодней прелой листвою. Среди нее Барам заметил живую фиалку и рассмеялся. Ему вспомнилось услышанное где-то:

Пусть у подножья дуба  
Фиалка расцветет.

Пусть цветет! Он не сорвал ее. Задумался. «Ведь дуб-великан — это род Гвиргвилиани. А я окружил его молодой порослью, словно свитой. Вон, какие стройные вязы толпятся вокруг него! Но что это? Дуб внизу бурый, почти черный, видно, он уже стар, очень стар. А побеги вверху — светлые, девственные и, кажется, сама молодость устремляет их ввысь. Но это уже не Гвиргвилиани, нет! Корни — это народ, а ветви — новое поколение. О, какой яд пролил в мою душу Вамех! Ведь сам вижу и понимаю, что происходит вокруг. Эх ты, злосчастный Барам! Эти буки и вязы — вовсе не наша свита, а друзья нового поколения. Ты видишь, как они устремились ввысь — дети разных уголков нашей страны?»

Склонив голову, Барам стоял перед дубом. Когда он пришел в себя, мысль его уже была устремлена на другое: «Ведь дерево похоже на человека, оно тоже живое, оно дышит, чувствует, и, я уверен, ему больно, когда мы ломаем и срезаем его ветку, оно плачет живыми слезами. Дерево — украшение гор и долин, лесов и полей. Оно дарит человеку тень, укрывает его от дождя и снега, оно приносит ему душистые и вкусные плоды. Как же не любить, не лелеять его? А Вамех смеется надо мной, уверяет, что во мне не иначе, как говорит чувство, перешедшее по наследству от далеких наших предков».

Барам поковырял носком землю, — показался перегной.

«Он хочет развести здесь грибы. Может, он и прав, почва здесь плодородная».

Барам двинулся дальше. Пройдя немного, подошел к высокому буку. Какой у него горделивый вид, какая величественная осанка! «Такое дерево и впрямь может дать отличный лесной материал. Дерево — лучший хранитель нашего здоровья, особенно в сырых местностях. Мы, в Мегрелии, строим в основном деревянные дома, из камня наши предки строили одни лишь крепости. Я сам было обратился к камню, но теперь с этим покончено. А у нас всюду строят из дерева в целях сохранения здоровья. Из дерева строят оду<sup>1</sup>, амбар, кукурузник, хлев, стойло, свинарник, курятник и разное другое. И если постройка не деревянная, ее непременно обвивают прутьями. Я сам живу в такой постройке, я доволен ею, но я не люблю, когда рубят дерево, когда его пилят на доски. Нет, в моем лесу я никому не позволю срубить дерево! — словно пригрозил кому-то Барам. — Я жалею его, а надо мной смеются — говорят, что и щепки не позволю вынести из своего лесу. Это, конечно, преувеличено, но дерево...»

Вдруг откуда-то донесся шорох. Барам с легкостью юноши двинулся дальше и вышел на тропинку, пролежавшую в самой чащобе. Эта тропинка выходила на проселок.

Барам не боялся, что сельчане срубят здесь что-либо, — его любили, и лес его трогать не решались. Но, увидев на тропинке крестьянина Гудуя, он встретил его упреком:

— Ты что это, Гудуя,ходишь в мой лес с топором за поясом? Уж не с коварной ли мыслью пришел ты сюда?

— Какая уж там коварная мысль — к твоему лесу не подступись! Ты тут молишься под каждым деревом.

<sup>1</sup> Ода — жилой дом в Западной Грузии.



Гудуйа знал, что иные из сельчан верили в «священную силу» деревьев и, несмотря на свой грубый нрав, не очень-то осуждал Барама. Но сейчас он и впрямь пришел сюда за деревом.

Барам почти угадал причину его появления в лесу и захотел задобрить его. Возможно, ему это подсказала и некая другая мысль: иное нынче время — и подействовать такому человеку, как Гудуйа, было пожалуй, не лишне.

— А что ты хотел, Гудуйа? — спросил он крестьянина.

— Что? Да лемех у меня сломался.

— Ты пашешь, как сумасшедший, — а я причем? Ну, да бог с тобой, Гудуйа, пойдем, выберем.

Крестьянин от радости был на седьмом небе.

Дерево выбрали, но когда топор застучал по стволу, Бараму и впрямь чуть не сделалось дурно. Однако он не псдал виду и лишь сказал:

— Ну, что ж... руби!

Барам простился и торопливо зашагал к дому. Он шел и думал: «Я сам похож на это дерево. Говорят, я сложен неплохо, и здоровьем силен, и по своему разветвлен, но, как и эти деревья, — я молчалив, не люблю говорить. Иной, может, думает: не разбираюсь в окружающем. Нет, дерево чувствует, возможно, даже видит. Дерево отличает друга от врага, но оно бессловесно, безгласно. Я тоже такой. Я и мой лес — мы похожи друг на друга. Только деревья чище, целомудреннее меня — за то я и люблю их».

## 19.

Выйдя из комнаты Нектарины, Беги прошел на задний балкон. Здесь чувствовались оживление и суматоха, обычно предшествовавшие праздничным дням. Девушки стирали и гладили белье, шили новые платья из разноцветных ситцев, купленных у Бенойи.

Служанки и горничные Нектарины жалованья не получали, она только кормила их, время от времени одевала, а по прошествии известного срока выдавала замуж. Поэтому-то деревенские девушки и стремились попасть в дом Нектарины. Иные даже считали это за особую честь для себя — отсюда они удачнее выходили замуж. Правда, в некоторых семьях косо смотрели на девушек, служивших в княжеском доме — к ним там приставали молодые князья. Но среди сельчан было немало и таких, что пренебрегали нелестной молвой: близость к влиятельной семье княгини была выгодна и завидна.

Нектарина считала своей обязанностью подарить к пасхе слугам обновы: женщинам — ситец на платье, мужчинам — чувяки, иным даже сатин на архалук. В общей сложности ей эти покупки обходились недешево, и она не раз жаловалась своим:

— Не знаю, право, как и быть, — одних расходов не оберешься с ними... Да жалко мне их, несчастных.

На самом же деле Нектарина, располагавшая пока достаточными средствами, стремилась, на старый лад, держать как можно больше слуг при доме.

Беги увидел на другом конце балкона Дэси Хубуа, красивую молодую вдову из деревни Ушапати. Она сидела у решетки и шила мужские чувяки. У Беги заблестели глаза.

— А... ты приехала? Здравствуй, Дэси!

Дэси встала, поклонилась и ответила:

— Здравствуйте, сударь!



Беги подумал: «До чего ж хороша, чертовка! Тонкая, гибкая, с высокой грудью... Как раз такая, каких я люблю!».

Он жадно оглядел ее, красиво очерченные, темные глаза и брови. Дэси стояла перед ним почтительно, однако несколько не робея, напротив — смело глядя ему в глаза.

— Ты что это — для Гутати шьешь? За этим и приехала сюда?

— Я, сударь, каждую пасху бываю здесь, — и лукавая усмешка тронула губы Дэси.

— Большая ты плутовка, Дэси, знаю я тебя! — в свою очередь улыбнулся Беги. Потом добавил: — А мне ты сошьешь к пасхе чувяки и местэби<sup>1</sup>?

— Отчего же! Если снизойдете до моих...

— Что значит — снизойду! Ты такая мастерица шить чувяки! Но только хочу нарядные, с позументами — кожа хранится у Дзилханы. Сердце мое чуяло, что ты приедешь, я и не отдал никому. Но успеешь ли к пасхе? Всего-то осталось полтора дня.

— К заутрене успею. Приложу все силы, а сошью.

— Вот спасибо, милая!

— Не за что благодарить, сударь!

— Как — не за что? Ты скажи мне, неужели этот кудлатый Гутати лучше меня? — И снова улыбка мелькнула на губах Дэси, но она ничего не ответила, а только пристальнее поглядела на своего собеседника, словно видела его в первый раз и хотела убедиться в том, что хоть Гутати и опрятный мужчина, но и Беги не плох — гляди, какое у него белое лицо!

— Я сглупил, что проворонил тебя... Уступил этому, Гутати. Ну да ничего — все равно ты будешь моей. А теперь я принесу кожу, — и Беги отправился в комнату Дзилханы, где старуха с Дагмарой красили яйца. Беги взял у Дзилханы кожу и плоскую серебристую тесьму, отнес все это Дэси. Та сняла мерку с ноги Беги и тут же на его глазах искусно выкроила длинным, острым ножом прекрасные чувяки. Беги продолжал балагурить возле молодой вдовы, но она молчала, усердно занятая своим делом.

В это время на балкон вышла баронесса и, увидев беседовавшую пару, ласково погрозила Беги пальцем:

— Ах ты, балконный кавалер! — и, глянув во двор, воскликнула: — Это что такое?!

Во двор загоняли скот и птицу, предназначенных к убою, — упитанную корову, молочных ягнят, поросят, кур, индеек. От мычанья, блеянья и визга животных стоял невообразимый шум.

В это время по лестнице поднялся Парна Бжалава, неся в руках свои плотничьи принадлежности.

— Ты что тут собираешься делать? — спросил его Беги.

Парна указал глазами на баронессу, как бы говоря: «По её распоряжению». Баронесса весело объяснила Беги:

— Он должен украсить мне залу. Идем-ка, что я тебе покажу! — и она увлекла за собой Беги и Парну.

(Продолжение следует)

<sup>1</sup> Местэби — мягкие голенища к чувякам.



# Мечта

Перевод с грузинского П. Антокольского.

Самеду Вургуну

Машина встала на шоссе. Помедлив,  
Пред тем как пыль на тракте улеглась,  
Он сжал слегка мне руку и, приветлив,  
Блеснул улыбкой черных ярких глаз.

Машина встала. Над Курой торчали  
Обломки скал, пробитых напролом.  
Дощатые бараки нас встречали,  
Палатки белым хлопали крылом.

Повсюду развороченные корни,  
Татарника колючие кусты.  
Лежит земля, расплавленная в горне,  
Нещадный зной струится с высоты.

Кура мутна и вяло катит волны,  
Чужие для тбилисских горожан,  
А рядом голос, искренности полный:  
— Вот он, цветущий мой Азербайджан!

Невежливость повсюду неуместна.  
Но чем же поддержу я разговор,  
Когда гляжу на горизонт окрестный,  
На караван горбатых этих гор?

Как выючные верблюды подступая,  
Несут они восточную печаль.  
Вся прошлая, унылая, слепая,  
За ними открывается мне даль.

И словно угадав причину вздоха,  
Самед простые произнес слова:  
— Расспросим предков! Дальняя эпоха  
В своих скорбях и радостях жива.



Расспросим, часто ль предки воевали  
С грузинами по берегам Куры,  
Иль, может статься, чаще задавали  
В садах тбилисских шумные пиры.

Да здравствует Вагиф, мой дальний прадед!  
Недаром страсть к грузинке в нем зажглась  
Ведь и меня в Тбилиси лихорадит  
От звездного сиянья чьих-то глаз.

Гуляли деды правнукам на благо.  
У вас и нынче праздник на столе,  
И в глиняных кумганах ваших влага  
Недаром сохраняется в земле.

Мы тоже не из племени ленивых,  
Нефть добываем, морю вопреки.  
С горючим нашим трудятся на нивах  
Грузинские железные быки.

А сердце большей радости не просит,  
Чем гомон стройки над большой рекой.  
И вот Самед привычно гладит проседь  
Своей горячей смуглою рукой:

— Смотри, — там и каналы завтра лягут,  
Чтоб влагою насытилась земля.  
Смотри, — там в ожиданьи тучных пахот  
Лежат, не дышат жадные поля.

Кура взялась за труд, она не шутит.  
Кура не знает отдыха и льгот.  
И небосклон Мингечаури будет  
В стовольтовых созвездьях через год!

Чего же нам иного домогаться?.. —  
И хлопнул по плечу меня Самед  
И засмеялся: — Вот оно, богатство,  
А большего не может быть и нет!

Я отвечаю: — Если разобраться  
В уроке, что нам прадедами дан, —  
Богатство наше — это наше братство.  
Вот почему цветет Азербайджан.

Не от мечты сердца у нас трепещут.  
О, если бы ты видел, как ручей  
Со склонов гор спешит в Куру и блещет  
В огне весенних солнечных лучей;

Как две Арагвы, слитые навеки,  
Цветы и звезды нежат на волне.  
Как все ручьи и все земные реки  
Подарками богаты наравне...





Так в это утро на Мингечаури  
В своих мечтаньях были мы щедры.  
И в схватке волн с железом, в мощной буре  
Творили люди русло для Куры.

По зову сердца, по велению века  
Народ с природой бился грудью в грудь,  
И творчество любого человека  
Прокладывало в будущее путь.

Мы чувствовали, как нетерпеливо  
Строительство в усердии своем.  
И правда, было бы несправедливо  
Сказать, что мы от стройки отстаем!

Вновь побывал я нынешней весной  
В Мингечаури. Где же ты, Самед?  
Где эти руки, черные от зноя,  
Где глаз твоих неугасимый свет?

Тебя уж нет в живых. Но рядом где-то  
Ты дышишь, страстно родину любя.  
А может быть, мерещится мне это?  
Как тяжело оплакивать тебя.

В воспоминаньях все живей и краше,  
Когда бывшее сердцем воссоздашь.  
Испей воды Куры, — ведь это наше!  
Хлеб разломи, Самед, — он тоже наш!

О, если бы не братство, кто растил бы  
Сады в пустыне, кто слагал бы стих,  
Кто жаркими мечтами осветил бы  
Твоих друзей — читателей твоих!

О, если бы не братство, чьим веленьем  
Мне был бы этот ясный праздник дан,  
Когда смотрю я с гордым удивленьем,  
Как расцветает твой Азербайджан!



# Старый Гедлач

РАССКАЗ

Перевод с абхазского А. Татаровой.

Солнечный воскресный день. Но посмотрите: не заболел ли наш старый Гедлач, всегда такой веселый и словоохотливый? Опираясь на палку и прихрамывая, он тяжело поднялся на галерею дома и со вздохом присел на деревянную кровать. Сегодня на старике лица нет, и усы его печально опустились.

Повернувшись в сторону кухонной постройки, он крикнул:

— Чичико, поди-ка сюда, дад!<sup>1</sup>

Белокурый парень, точивший на кухне топорик—цалду, тотчас бросил свое занятие и взбежал на галерею. Опустив сильные руки, он выжидательно посмотрел на отца.

Старый Гедлач хмуро сказал:

— Садись, дад, хочу серьезно с тобой поговорить.

Молчание. Засунув себе за спину подушку, Гедлач откинулся на нее, с минуту глаза его были полузакрыты; он закурил трубку с длинным мундштуком и, зорко глянув на сына, начал издалека:

— Дад, Чичико, хочу я тебя спросить об одном деле. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы старый Гедлач врал? Слышал ли ты от людей, чтобы старый Гедлач когда-нибудь расхвастался, соврал, выдал бы черное за белое?

Чичико опустил голову и внимательно слушал отца.

— Врать — это бесчестие, дад! — продолжал старик. — Неужели до сих пор ты не можешь понять этого? Не в моей привычке врать, не в моем характере. Я и детям запрещаю обманывать людей, слышишь ты меня, дад?!

— Кого же я обманул? — осторожно спросил Чичико.

— И ты не знаешь, кого обманул? И ты меня еще спрашиваешь об этом? Ах, горе мое, и зачем я пошел вчера на собрание! Лучше бы уши мои не слышали твое вранье. Что ты вчера обещал собранию? Ты обещал

<sup>1</sup> Д а д — ласковое обращение.



снять тысячу пудов кукурузы с гектара! Это ли не обман? Или ты думаешь, что люди к осени забудут твои хвастливые слова?

В дверях показался маленький черноглазый Кучита, племянник Гедлача.

— Дед, — вмешался он в разговор, — люди не смогут забыть эти слова. Они так обрадовались! Обещание Чичико они записали в протокол, перо секретаря так и летало по бумаге. Как птица!

— Куда записали?

— В протокол. И так били в ладоши, что я оглох.

— Хорошо, что я не слышал этого, уйдя от срама. Записали, Чичико, правда это? Ах, боже мой, как плохо!

— Не бойся за меня, отец, — твердо сказал Чичико. — Будь спокоен, мы выполним все обязательства, наши комсомольцы в том порукой.

— Честная работа — это хорошо, дад, — пробормотал старик, попыхивая трубкой. — Работай честно. Только разве это честно — обещать то, чего не сможешь выполнить? Ах, горе мое... Я сам был молод, и руки мои были крепче железа. Но в самый урожайный год я не снимал с этого участка больше семидесяти пяти пудов кукурузы. А руки мои были крепче железа, дад. Тысяча пудов с гектара — да об этом страшно подумать! Горы, и те будут смеяться над тобой. У нас в роду еще не было хвастунов. Надо обещать поменьше, а делать побольше. Вот это мудро.

— Не по характеру мне, отец, думать одно, а говорить другое.

— Весь в мать! — горестно воскликнул старик и скрылся в клубах дыма. — Вылитая мать — и лицом, и характером, и словами!

Чичико упрямо сказал:

— В прошлом году и больше с гектара получали.

— Где?

— В других районах.

— Что делается в других районах, мне отсюда не видно. Мне видны отсюда только наши колхозные земли, которые никогда не получали такого урожая.

Закашлявшись, старик встал и, опираясь на палку, перешел в комнату.

У окна пряла пряжу Нанаша, спутница его долгой жизни. Черные быстрые глаза ее посмотрели на мужа ласково и насмешливо. Чичико остановился в дверях. Нанаша, бросив пряжу, вытянула на коленях натруженные, мозолистые руки.

— Напрасно ты расстроился, старый, — сказала она своим звучным голосом. — Наш Чичико — лучший работник в колхозе. Ты уже пять лет, по болезни твоей, сидишь дома и не знаешь, как люди работают на полях. Разве через стену дома можно увидеть, что делается на дворе?

— Ну вот, дождался старый Гедлач, что собственная жена обозвала его бездельником, а сын слушает и молча стоит в дверях! — рассердился старик. — Разве я не работаю дома, разве я не плету корзины для колхоза?

— Не обижайся на того, кто не хочет тебя обидеть, — примирительно проговорила Нанаша и снова принялась за пряжу. — Я хочу только сказать, что у моего сына слова никогда не расходились с делом.

Старик Гедлач встал и сказал много громче, чем это требовалось для столь небольшой комнаты:

— Если Чичико осенью соберет тысячу пудов с гектара, то я не погляжу на свои восемьдесят лет! Я забуду свою хворь и вернусь на поля, чтобы испытать силу такой диковинно плодородной земли!

Чичико и Нанаша спрятали улыбки. Дед Гедлач хочет вернуться на поле? Удивительное дело! Кучита подошел к Гедлачу и, задрав голову, оказал ему своим звонким голосом:



— Когда ты начнешь работать, дед, я помогу тебе. На пахоте я буду идти впереди быков.

Возле глаз Гедлача задрожали морщинки, усы поднялись, потом открылись в улыбке крепкие зубы. Старик смеялся. Это был уже прежний дед Гедлач, быстрый на шутку, расточительный на слова, ясный умом и горячий сердцем. Кинув палку на пол, он присел на корточки и прижал мальчонку к своей широкой груди.

Задыхаясь от смеха, он спросил:

— Ты мне поможешь? Ах, золото мое... В твоём возрасте я уже поливал кукурузу своим потом. А ты не знаешь ничего, кроме школы. Значит, ты пойдешь впереди быков? Слышите, он пойдёт впереди быков! Ну, даст бог, мы справимся. У тебя две ноги, у быков—восемь, да у меня одна здоровая. Этого на первое время хватит.

\* \* \*

Пришла весна с её ветрами, напоенными запахом цветов, с её небом, полным голубизны и блеска. Под жгучими лучами солнца на дальних горных вершинах ослепительным светом переливались снега. Вот летят птицы, полные забот: время вить гнезда и думать о потомстве. Вот издали доносится звон ручья. В сады пришла пора цветения яблонь и груш. Дед Гедлач, лежа на своем обычном месте, на галерее, сквозь дремоту прислушивается к жужжанью пчел и песням колхозников, доносящимся с полей.

Гедлач спит и не спит. Думы его — на участке комсомольцев. Сейчас сын трудится там, и дед явственно видит его рубаху, взмокшую от пота, и мускулистые руки, тяжело налегающие на рукоятки плуга. Идет весенняя вспашка. Что и говорить, Чичико работает, не покладая рук. Задолго до начала вспашки он с товарищами собирал в кучи сухие кукурузные стебли, сжигал их, чтобы получить золу. Веселый огонь поднимал к небу растрепанную гриву дыма. Комсомольцы на арбах возили с реки ил, заготовили тонны козьего навоза. Земля прожорлива: прежде чем родить, она требует пищи.

Мимо дома прошла автомашина. Откинув одеяло и приподнявшись на локтях, Гедлач посмотрел ей вслед. Участок близко. Видно, как машина остановилась. Чичико поставил быков в тень, подошел к машине, начал сваливать с нее удобрения. На загорелом лице Чичико сверкают зубы и белки глаз.

Сколько лет Гедлач знает этот участок? Столько же лет, сколько ходит по родной земле. Когда Гедлач только начинал работать, этот участок был усыпан камнями, нанесенными с гор вешними водами. В засуху он вообще не давал урожая. Отец Гедлача болел пороком сердца. Однажды летом он стал собирать камни, утомился, лег на землю и умер. Гедлач один остался у матери. Ах, горе, эта каменистая земля, плохо родящая кукурузу! Мать не разрешила ему собирать камни: она боялась, что сын устанет, ляжет на землю и умрет среди камней, как его отец.

В селении давно уже колхоз, и на участке нет больше камней. Эх, вернуть бы молодость, золотое время, силу в теле и удаль в душе! Он показал бы нынешней молодежи, как надо работать!

\* \* \*

Чичико четыре раза прополос кукурузу, потом опылял ее, и вот поглядите: увесистые початки величаво покачиваются на ветру. Иной раз, набравшись духу и взяв палку покрепче, старик Гедлач проходил вдоль



участка. Удивительно, всякие бывали урожаи: низкие, средние и богатые, но таких початков Гедлач еще не видел на своем долгом веку. Золотистые, они будто вобрали в себя не сок земли, а свет солнца.

Гедлач думает: «Что произошло? Изменилась земля, подобрела к людям? Или изменились люди и подобрели к земле, лучше и умней стали ухаживать за нею? Похоже, что так: изменились люди, а, изменившись, изменили и землю. Казалось бы, что за парень Чичико? И руки у него не крепче, чем руки отца и деда, а вот работа лучше спорится в них, и хозяйская хватка его пошире и посмелей, и есть во всех его делах особая содружность с людьми».

«Все это так, — думает старик, — а все-таки соврал народу Чичико, не остерегся. Не собрать ему тысячи пудов!».

Тем временем солнце совершало свои ежедневные обходы от перевалов к морю, лето не стояло на месте, подошла пора уборки. На комсомольском участке стали ломать початки.

Денек выдался на диво. Далекие кустарники, как бы взбежавшие на черный отрог, в этом прозрачном воздухе казались близкими — протяни руку, и они тут. Гедлач сидел в тени ольхи и неторопливо беседовал со стариками. Но сердце его горело и мучилось от ожидания: весовщик уже начал свою работу. Толпа колхозников окружила весы. Гедлач видел только своего Чичико.

«Ах, эта молодость! Тысяча пудов с гектара — надо же было брать такое обязательство... Сейчас весовщик выкрикнет цифру, и срам падет на голову Чичико. Чем он будет оправдываться? Когда быку принесли ярмо, он сказал: «я корова», когда же ему принесли подойник, он сказал: «я бык». Ничего другого не останется Чичико, как уподобиться этому быку...».

— Тысяча двенадцать пудов! — закричал весовщик.

Гедлач прислонился спиной к стволу ольхи. В глазах у него зарябило. Потом он увидел толпу и Чичико, взлетающего над нею в воздух. Чичико взлетал то боком, то животом вниз, то вытянув руку, то согнув колени. И так, и этак. Гедлач испугался, что люди уронят Чичико на землю, и закрыл глаза. Сердце его билось под архалуком, колени дрожали.

Голоса стариков вывели его из этого состояния. Те старики, что остались на поле в ожидании машины, которая должна была прийти за кукурузой, приближались к нему неторопливо и радостно — поздравить с неслыханным успехом сына.

— Чичико прославил наш колхоз, — сказал первый старик и протянул Гедлачу руку.

— Признаться, я не верил, что он возьмет столько, — ответил Гедлач, и сам почувствовал сияние своих глаз: так весел был его взгляд.

— Тысяча пудов с гектара, — сказал второй старик.

— Тысяча двенадцать! — воскликнул Гедлач, браво стукнув о землю своей больной ногой.

— Ого! — сказали старики, — уж не перестала ли болеть твоя нога?

— Она болит намного меньше, — ответил Гедлач.

Старики присели тут же, под ольхой, сжидая машину.

День постепенно клонился к вечеру. Из седловин, из глубоких расщелин, поросших кустарником, ветер уже доносил прохладу. Лесистые склоны, обращенные к востоку, окутались тенью, словно укрылись буркой. Старики говорили, не умолкая ни на минуту. Говорили о том, что они будут гордиться Чичико, как сыном всей деревни, ибо так говорит народная мудрость: плетень держится кольями, а человек — человеком.

Старики изумлялись тому, что нога Гедлача стала меньше болеть, спорили — за какую работу теперь возьмется старый Гедлач в колхозе. И



тут старик решил, что уже неуместно ему скрывать от односельчан свой секрет.

Положив трут на кремень, он выбил искру, глубоко затаившись, помолчал. Старики терпеливо ждали. Когда дым окутал лицо старого Гедлача, он сказал так:

— Скажу вам по совести, дорогие односельчане, сидеть дома и плести корзины — это теперь не занятие, это одна срамота. Не верил я ни Чичико, ни старухе-жене, ни племяннику Кучите, которые верили ему. Да что об этом вспоминать! Но вот я увидел, какая вымахала кукуруза. Не знавали мы такой сроду. И взяла меня тревога, да такая, что ночей не сплю, думаю — сбережет ли Чичико свой неслыханный урожай? Весь извелся я и похудел. Как только Чичико ляжет спать, я беру ружье и тайком — в поле. И не дорогой, а через заборы. И болезнь моя замолчала, как молчит дурной человек, пораженный чем-нибудь неслыханно хорошим. Вы знаете, дорогие мои сельчане, что в городе залечивали мою болезнь, да не надолго. Тут мне было не до города. Я стал прикладывать к ноге целебные травы. Но не травы — мое главное лекарство. Главное лекарство — это наша земля, подчинившаяся Чичико, его хотению и его трудам. Беззвездными ночами я ходил по участку и охранял его от всякой беды и неожиданности. А когда была засуха, я отводил воду от ручья и пускал ее к корням кукурузы. И никто не знал об этом, кроме неба, гор и моей совести. Вот так-то я постепенно и поправился, друзья мои.



ДОТ — ВВНРЭ  
и ТННВQX ,ЭВН' ТНННР'Е



## Мать моей обители

Перевод с грузинского М. Максимова.

Каждый дом свою имеет жрицу.  
Это так извольте понимать,  
Что живет, пока очаг теплится,  
Рядом с ним недремлющая мать.

Вечная, — года ее не старят —  
Нянчит нас, хранит из рода в род...  
В Степанцминде, около Мкинвари,  
Мать моей обители живет.

Вижу: свет над бездной беспредельной,  
Слышу, стоит чуть прикрыть глаза:  
Люльки скрип, журчанье колыбельной  
И отцовский голос, как гроза.

Вот лежу я с солнцем по соседству, —  
И, качаясь выше облаков,  
В четком ритме люльки слышит детство.  
Будущий призывный звон подков.

В очаге огонь еще спокоен,  
Но всему на свете свой черед...  
Для отчизны подрастает воин,  
Дада колыбельную поет.

Братья травы косят с тучей рядом,  
В дом летит цветочная пыльца,  
И еще теплы колени дады,  
И могуч задорный бас отца.

Косы братьев, времени стремленье,  
Маятники сосен над крыльцом,  
Путь из люльки к маме на колени,  
Путь из детства за руку с отцом.



А потом — весеннею порою —  
Вдруг поймешь, что ты уже другой,  
И сверкает месяц над горою  
В нежном ухе девушки серьгой.



Мать моей обители суровой!  
Неужели юность отцвела,  
И не хватит сил для песни новой,  
Новой песни с крыльями орла?

Нет, ношу я в памяти не даром  
Тот очаг, где вечный голос жив,  
Где теперь орлы на доме старом  
Дремлют, крылья дряхлые сложив.

Тот очаг, откуда все на свете  
В новые отправились места,  
И гремит, гремит чердачный ветер  
Люлькой, что давно уже пуста.

Я давно на встрече с детством не был,  
Но несусь с собой из года в год  
Тот очаг, где как горячий пепел,  
Мать моей обители живет.



# Подрубленный столб

РАССКАЗ

Авторизованный перевод с армянского.

Весь дом наполнен запахом свежее испеченного хлеба — самым вкусным запахом на свете. Матушка Салби то и дело хлопает по раскаленной стенке тондира<sup>1</sup> продолговатой подушкой с распластанной на ней лепешкой из тонко раскатанного теста. Отдирая зарумянившийся готовый лаваш, Салби низко склоняется над тондиром, и он дышит ей в лицо нестерпимым жаром. Выпрямившись, женщина вытирает концом головного платка вспотевший лоб и с тревогой смотрит на мужа.

Старый кузнец Саро сидит на покрытой ковром тахте, низко опустив седую голову, и нетерпеливо перебирает шарики агатовых четок. Зажатая в зубах трубка давно уже погасла.

«Почему он так медлит? — думает матушка Салби. — Неужели забыл? А может... может уже случилось самое худшее?»

Сердце старой женщины сжимается от страха. Она умоляюще смотрит на мужа. «Скажи, скажи», — просит и требует ее взгляд.

Саро поднимает голову и отвечает ей тоже взглядом — добрым, ласковым, дружеским: «Все в порядке, жена. И я ни о чем не забыл».

Этот безмолвный разговор успокаивает матушку Салби, и она снова склоняется над тондиром. Саро кладет четки на ковер, достает из потертого кожаного футляра острый, как бритва, нож. Матушка Салби слышит тяжелые шаги мужа, выпрямляется, и, скрестив на груди руки, неотрывно смотрит на него. По щекам женщины, задерживаясь на каждой морщинке, медленно катятся слезы. Саро подходит к могучему, прямому, дубовому столбу, который вот уже много лет подпирает кровлю этого дома. Столб давно почернел от дыма и от времени, но когда сквозь ердик<sup>2</sup> падает луч дневного света — на его гладкой поверхности отчетливо виднеется множество глубоких зарубок. Сейчас их двадцать две. Старый кузнец сдержанно вздыхает и делает на столбе двадцать третью зарубку.

<sup>1</sup> Тондир — круглая глиняная печь, врытая в землю.

<sup>2</sup> Ердик — слуховое отверстие в кровле дома.



— Двадцать три, — вполголоса говорит он и прячет нож в футляр.

Двадцать три года назад в этом доме родился долгожданный сын Григор. Кузнец Саро был немолод. Виски его уже тогда были тронуты сединой, и рождение сына озарило всю его жизнь радостным светом. В тот памятный день на столбе, подпирающем кровлю осчастливленного дома, появилась первая зарубка, а рядом с ней имя Григора и дата его рождения.

— Первый сын — это столб родительского очага, жена, — сказал тогда Саро. — И пока он есть, не обрушится кровля, не погаснет огонь в тондире.

Григор вырос статным и красивым парнем, мужчиной, надеждой и оплотом семьи. Но почему же так невеселы сегодня его старые родители? Ровно год назад, в такой же день они проводили своего Григора на фронт. Всего год прошел с того дня, а старому кузнецу кажется сейчас, что вот уже век миновал, как не слышал он голоса сына, не видел любимого лица, не обнимал его молодых, налитых силой плеч.

Саро вздохнул, глаза его затуманились, словно кто-то цепкой рукой перехватил ему горло. Он откашлялся и разжег потухшую трубку. Да, всего год прошел, но какой мучительный год! Под бременем тревог все более сгибалась спина кузнеца, все больше тускнели его глаза, все меньше сил оставалось в когда-то крепких, не знающих усталости руках. Григор писал редко. А фронт приближался; все чаще плакали женщины в осиротевших домах, и черные вести кружились над селом, бросая мрачную тень на землю, на лица и души людей, на всю их жизнь. В селе знали, что враг уже подошел к горам Кавказа. Старику иной раз казалось, что даже солнце, и то уже греет и светит не так, как раньше...

Старый кузнец сидит на тахте и скрюченными непослушными пальцами снова перебирает четки. Табачный дым кажется ему сейчас необыкновенно горьким, как те мысли, которые терзают его мозг и от которых уже никуда не уйти. Не хочется верить, что врагу удалось подползти к самому сердцу страны. Что же делают наши сыновья? Почему они не остановили немцев? И где мой Григор? Хоть бы весточку прислал: не беспокойся, мол, отец, Гитлера дальше не пустим. Но сын молчит. Неужто?.. Нет, об этом невозможно думать отцу, старое сердце его не выдержит.

Саро закрыл глаза и открыл их только тогда, когда Салби подмела вокруг тондира и принялась скрести кухонным ножом деревянное корыто из-под теста.

— Давай, пообедаем, — сказал старик. — Хочу пойти на улицу, поговорить с людьми. В такое время сердце к сердцу тянется. В одиночестве волком завоешь.

Матушка Салби расстелила на тахте холщовую скатерть и подала мужу лаваш и миску с похлебкой.

— А ты почему не ешь, жена?

— Кусок в горло не идет, Саро! Подумать только, — в каком огне наш мальчик.

— Не он один — все в этом огне горят, — ответил кузнец. — А что же делать? Пустить врага в наш дом? Помню, дед мне еще говорил: «Не прольешь кровь за родную землю, не будет сладкой жизнь на ней».

Саро отодвинул миску и поднялся.

— Может, зайдешь к почтальону, — робко попросила Салби.

— Если будет письмо, он сам принесет. Не наседка же он, чтобы сидеть на письмах.

Кузнец перешагнул через высокий порог, и старая дубовая дверь закрылась за его согбенной спиной.



Саро шел по улице, и встречные почтительно кланялись ему. Вот уже три года, как он ушел на покой, а люди все помнят его добрые дела и, наверное, долго о них не забудут.

Раньше, до войны, Саро любил совершать такие прогулки по сельской улице. Идет он, бывало, неторопливой, степенной походкой и любуется родным селом. Саро здесь родился, здесь он трудился всю свою жизнь, и все тут ему дорого, любимо, близко.

Но теперь эту постоянную и светлую радость за людей очень часто омрачает острая боль, возникающая в его старом, беспокойном сердце: отзвуки войны докатились и сюда. Вот притих за деревьями новый, еще не обжитый дом тракториста Армо. Едва отпраздновал тракторист новоселье, только-только привел к своему очагу молодую жену — красавицу Ануш, как пришлось уйти на фронт. И уже нет в живых веселого парня Армо.

На той неделе пришло извещение: в ущельях Баксана пал он смертью храбрых. Да разве он один!

Саро склоняет голову, проходя мимо этого дома.

«Не прольешь кровь за родную землю, не будет сладкой жизнь на ней, — думает Саро. — Это правда. И все же, господи, если ты есть на небесах, сохрани нам сыновей наших! Пусть погибнет враг от их руки, а сами они пусть останутся живыми и невредимыми».

— Саро, а Саро! — председатель колхоза Мурад уже давно идет рядом со стариком, но тот не слышит его шагов, не слышит его голоса. Мурад притронулся к плечу старика. — Я спрашиваю тебя, мастер, что пишет Грикор, а ты молчишь.

— Прости, Мурад, задумался.

— Да, есть о чем задуматься, война уже до наших гор докатилась.

— Почему же так вышло, Мурад? Что там случилось?

— На войне, Саро, иногда приходится и отступать. Но мы свое возьмем. Возьмем! И вот увидишь, сыновья наши разобьют врага и вернутся домой с победой.

— Дай бог! — сказал старик. — Думаешь, я не верю в это? Иначе и жить бы не стал...

Саро вернулся домой с заседания правления только вечером. Еще издали он заметил, что сквозь неплотно прикрытую дверь пробивается луч света. «Не спит Салби, наверное, опять плачет, бедняжка», — с тоскою подумал он. Саро осторожно толкнул дверь. У самого порога стояла Салби. Лицо ее сияло.

— Сын... Наш сын, — только и могла сказать она.

— Что ты говоришь, жена? — удивился Саро. — Где сын?

Женщина указала рукой на тахту. Там кто-то лежал, прикрывшись шинелью.

— Грикор, — прошептала Салби. — Прилетел наш сыночек.

Саро метнулся к тахте, но Салби ухватила его за рукав:

— Не буди, только что заснул он. И одежды не снял, хотел тебя дождаться.

Саро отмахнулся от жены:

— Грикор! Сынок!

— Тише! — взмолилась женщина. — Не говори громко. Не надо, чтоб в селе знали, что Грикор вернулся.



— Глупости говоришь, жена!

Григор проснулся. Саро обнял сына, прижал его к груди, целуя в лоб и в глаза. Волненье перехватило ему горло, и он лишь молча стискивал Григора в объятиях. Вдруг тот застонал.

— Прости, сынок, — всполошился старик. — Я совсем забыл, что ты ранен.

— Я не ранен, отец, — глухо ответил Григор и отвел глаза.

Саро внимательно оглядел сына и почувствовал, что тот охвачен какой-то непонятной тревогой.

— Так почему же тебя отпустили? Что это значит? И почему мать говорит, что никто не должен знать о твоём возвращении?

Григор молчал. И вдруг страшная мысль, словно удар молнии, обрушилась на старика. Ноги его подкосились, и он едва не упал. Сбрав последние силы, Саро выпрямился и так гневно скрежетнул зубами, что Григор вздрогнул.

— Ты бежал? Говори: ты бежал с фронта?..

Сын что-то пробормотал — бессвязное и жалкое, но Саро уже не слушал его. Опустив голову, ничего не видя вокруг, он сел на скамью — понявший все, пораженный и разбитый. Потом, словно моля о чем-то, взглянул в скорбные, испуганные глаза Салби, бессильно склонившейся к столбу в середине комнаты — и, как яркая вспышка света, как выстрел, его ослепили те двадцать три зарубки, которые он сам сделал на этом столбе и которые были и символом веры в сына, и символом памяти о нем.

А теперь — теперь вера в Григора была потеряна, а памяти он был не достоин. Решительный и страшный в своем спокойствии, старик поднялся, достал из-под скамьи топор.

Салби ужаснулась:

— Саро!..

Тот горько и зло усмехнулся, отстранил ее и с яростной силой ударил по столбу, подпирающему кровлю его дома. Острая сталь с печальным звоном врезалась в дерево. И вот уж нет двадцати трех зарубок, имени сына и даты его рождения... Казалось, что столб не выдержит этого сокрушительного удара, казалось, что он надломится и лишённая опоры кровля рухнет на головы людей. Старик бросил топор и дрожащими руками закрыл глаза. Он плакал — плакал впервые в жизни, и жгучие слезы обжигали пальцы кузнеца, которые никогда не боялись огня.

Салби рыдала. Ее костлявые плечи тряслись. Григор протянул к матери руки, чтобы поддержать ее, но Салби отшатнулась от него и схватилась за руку мужа.

Григор со стоном выбежал из родного дома.

\* \* \*

Раньше дня не было, чтобы не зашел старый кузнец в правление. А вот уже неделя, как не видел Мурад своего друга. Должно быть, заболел. Надо бы зайти к нему, проведать. Да минуты свободной нет. Столько забот навалилось на Мурада, столько дел, что суток стало не хватать.

Мурад сидит в правлении, подперев руками голову, и невесело думает о том, что скоро надо выходить в поле пахать, а плуги не отремонтированы. Кузнец Ованес на прошлой неделе ушел в армию. Остался в кузне его четырнадцатилетний сынишка Рачик. А что он может? Дитя! Пришлось потушить в горне огонь и повесить на дверях кузницы замок. Не пахать надо, сеять надо.

— Здравствуй, Мурад!



— А, это ты, Саро? — Мурад протянул руку и поразился тому, как изменился старик. — Прости, друг, я догадывался, что ты болеешь, да все не мог к тебе выбраться.

Саро махнул рукой:

— Болезнь мою уже никто не излечит, Мурад! Не будем об этом говорить. А пришел я вот зачем: дай мне ключ от кузницы. И мальчика ко мне пришли, Рачика.

— Подумай, Саро. Ты болен и...

— Давай ключи, Мурад. Зачем попусту тратить слова.

Мурад вздохнул и молча протянул старику ключ от кузницы.

★ ★ ★

Наступил вечер. Село уснуло. Лишь в кузнице то и дело вспыхивали яркие искры и неумолчно звенел молот.

Саро вытащил из огня раскаленный брус железа, слегка ударил им по наковальне, сбил окалину и скомандовал Рачику:

— Бей!

Рачик поднял молот.

— Не сильно бей, а умно, — сказал старик. — Вот сюда. Молодец!

Он окунул железо в бочку с водой, оно зло зашипело, и старик, думая о чем-то своем, сказал мальчику:

— Ты сын кузнеца, ты должен знать: человек, который боится железа, уже не человек. А мы, кузнецы, умеем делать из железа и плуг для пахаря и меч для воина. Что хотим — делаем из железа. Потому что мы люди, и нет никого сильнее нас. А теперь — иди отдыхай, мальчик. Только не проспи.

— Я не просплю, мастер. Я знаю — сейчас война и много спать нельзя.

Саро проводил Рачика добрым взглядом: «Хороший растет мастер. Весь в отца. Какое это счастье иметь хорошего сына».

Старик схватился рукой за грудь — острая боль пронзила его сердце. Когда боль прошла, он присел на ящик, зажег трубку и, покурив немного, снова подошел к горну. Еще можно поработать — ночь только началась. Трудно, конечно, будет без молотобойца, но людям — завтра в поле, а что там делать пахарю без плуга?

★ ★ ★

В полночь Салби проснулась. Ей привиделся страшный сон: будто сидит Саро на стуле без спинки, а стул почему-то стоит на хрупкой льдине. Вдруг раздался удар, льдина разлетелась на тысячи мелких кусков, и Саро со стулом скрылся под бурлящей водой...

Она проснулась в холодном поту: «Господи, так поздно, а старика все нет».

Матушка Салби, охая, поднялась с тахты и зажгла керосинку, чтобы вскипятить воду. Старик любит перед сном выпить стакан чаю. Вот уже булькает в чайнике кипящая вода, а Саро все нет и нет. Салби охватывает беспокойство. Накинув на плечи шаль, она торопливо идет по сельской улице. Но почему так тревожно стучит сердце? Старуха ускорила шаг, она почти бежит: «Господи, хотя бы ничего с ним не случилось! Один он у меня остался. Один».

Женщина открыла дверь кузницы и, вскрикнув, сорвала с головы платок.

...Старый кузнец умер, как из века в век умирали мужчины его на-



рода — лицом к огню. В его правой руке — в деснице мастера — была за-  
жата рукоять молота, которым он всю жизнь до последнего вздоха ко-  
вал из покорного ему железа плуг для пахаря и меч для воина.

★ ★ ★

Весна. Долины, луга и склоны гор покрылись густой зеленью. На-  
стал долгожданный день победы. Солдаты возвращались домой. Откры-  
лась дверь и в доме вдовы старого кузнеца.

Матушка Салби обняла сына, потом отошла от него и беззвучно  
заплакала.

— А где отец? — спросил Грикор, оглядывая комнату.

Салби не ответила.

— Он умер?

Слезы матери были ответом на этот вопрос. Грикор закрыл лицо ру-  
ками и долго стоял молча, затем повернулся к двери.

— Не уходи, сынок! Я приготовлю тебе поесть.

— Я скоро вернусь. Только навещу могилу отца.

— Нет, нет, не надо, — испуганно прошептала Салби. — Он не ве-  
лел.

Грикор опустил голову:

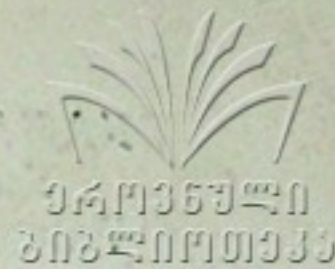
— Значит, не простил?.. А теперь бы он простил меня, мама.

Грикор рванул воротник гимнастерки, и мать увидела на груди сына  
багровый рубец — след тяжелой раны.

Салби прильнула губами к шраму, и Грикор понял, что получил пра-  
во преклонить колени у могилы отца.



## Коротко об авторах



**МАКСИМОВ** Русский поэт. Родился в 1918 году. Первое стихотворение «Дуб» опубликовал в 1939 г. в журнале «Новый мир». Участник Великой Отечественной войны.

После войны выпустил сборники стихов: «Наследство» (1946), «Ровесники» (1947), «Десять лет спустя» (1956). Марк Максимов — автор пьесы «Семья Бугровых» и киносценария «Лично известен», повествующего о герое большевистского подполья Камо. Воениздат готовит к печати новую книгу стихов М. Максимова «Готовность».

**РАТИАНИ** Родился в 1914 году. После окончания в 1938 году исторического факультета Тбилисского государственного университета, П. Ратиани работал в республиканской прессе. Основная тема его исследований — вопросы мировоззрения Ильи Чавчавадзе. В 1949 г. была издана на грузинском языке книга П. Ратиани «Философские и социально-политические взгляды Ильи Чавчавадзе». Второй том монографии — «Политико-экономические взгляды Ильи Чавчавадзе» был издан в 1957 году.

**АСАТИАНИ** Литературный критик (1900—1955). Деятельность Л. Асатиани была посвящена, в основном, исследованию проблем грузинской классической и современной литературы, вопросов литературных связей братских народов нашей страны.

В 1940 г. Л. Асатиани была опубликована большая монография о жизни и творчестве Акакия Церетели. Его перу принадлежат статьи о творчестве Давида Гурамишвили, Важа Пшавела, Ильи Чавчавадзе

и других представителей грузинской литературы XIX века.

Известны его статьи о Т. Шевченко, И. Франко, М. Бажане, работы «Маяковский и Грузия», «Из истории украинско-грузинских культурных связей», «Пушкин и грузинская культура», переведенная также на русский язык.

**ФЕЙГИН**  
Эммануил  
Абрамович

Родился в 1913 г., в городе Джанкое Крымской области, в семье рабочего - кузнеца. В 1932 г. в издательстве «Молодая Гвардия» вышла его первая книга — повесть «Черный пар». В последующие годы Крымское областное издательство выпустило еще три книги Э. Фейгина: повесть «Романтическое путешествие» (1937), сборники рассказов «Здравствуй, земля родная» (1937) и «В августе» (1940).

С 1941 г. по 1953 г. Э. Фейгин — в рядах Советской Армии. После войны Э. Фейгин работает в Грузии. В 1954 г. в издательстве «Заря Востока» вышла книга Фейгина «Две повести» и в 1955 г. сборник повестей и рассказов «Мзеона».

**ЯШВИЛИ**  
Павле (Паоло)  
Джибраелович

Грузинский поэт (1895—1937 гг.) Первые стихи опубликовал в 1915 г. В начале своей литературной деятельности принадлежал к группе грузинских символистов. В дальнейшем создал ряд стихов и поэм, отразивших социалистические преобразования в стране. П. Яшвили плодотворно работал в области перевода на грузинский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Маяковского. За литературную деятельность был награжден орденом Трудового Красного Знамени.



**КАЛАДЗЕ** Грузинский поэт и драматург. Родился в 1907 г. Учился на литературном факультете Тбилисского педагогического института. Первое стихотворение опубликовал в 1920 г. С 1926 г. выпустил ряд поэтических сборников как на грузинском, так и в переводах на русский, украинский, армянский, азербайджанский и другие языки народов СССР. К. Каладзе принадлежат пьесы «Как?», «Хатидже», «Дом на берегу Куры», «Лали», «Комедия одной ночи» и др.

**ПАПАСКИРИ** Абхазский писатель. Родился в 1914 г. В 1956 г. окончил Литературный институт им. А. М. Горького при ССП СССР. В настоящее время — сотрудник Абхазского государственного института языка, литературы и истории им. Дм. Гулия. В 1932 г. принял участие в сборнике молодых абхазских поэтов, изданном в Сухуми.

В 1955 г. книга М. Папаскири «Письмо Маницы» была издана Абхазским государственным издательством, а затем, в переводе на русский язык, — издательством «Молодая Гвардия».

**ГОМИАШВИЛИ** Грузинский поэт. Родился в 1911 г. в селении Александр Константинович Казбег. Учился на филологическом факультете Тбилисского университета. Участник Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Первое стихотворение опубликовал в 1929 г. Издал ряд поэтических сборников: «Песня андезита», «Стихи», «Дарьял», «Баллады», «Избранные стихи» и др.

Московское издательство «Советский писатель» готовит к печати книгу А. Гомиашвили «Стихи и баллады» в переводах Н. Тихонова, Е. Долматовского, А. Межирова, А. Кочеткова и др.

**АСЛАНЯН** Армянский писатель. Родился в 1906 г. Живет и работает в Грузии. Учился на филологическом факультете Тбилисского государственного университета. С 1941 г. по 1956 г. находился в рядах Советской Армии. Первый рассказ «Сын мести» опубликовал в 1930 г. В 1946 году выпустил сборник рассказов и повестей «Ураган», а в последующие годы — еще ряд книг. Издательства «Заря Востока» и «Сабчота мцeralи» готовят к изданию сборники избранных рассказов и повестей М. Асланяна в переводе на русский и грузинский языки.



Технический редактор К. Коринтели.

Подписано к печати 28/VIII—57 г.

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 8 печ. натур. л. + 2 вкл.

Заказ № 985.

УЭ03049


Цена 5 руб.

Типография «Заря Востока» имени А. Ф. Мясникова  
Издательства ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, 42.



5 руб.

22037

  
საქართველოს  
საბჭოთავო  
1081